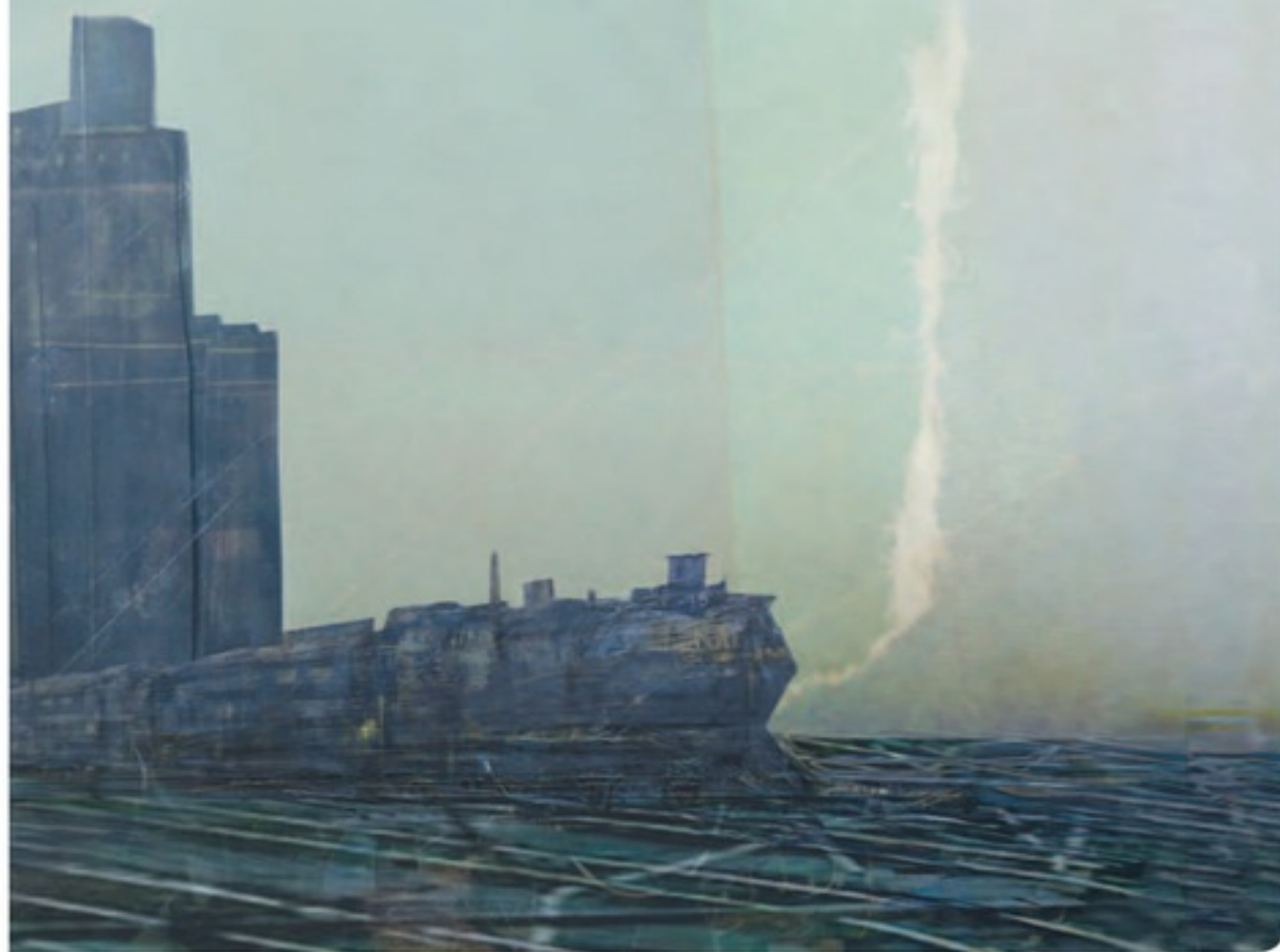


Айн Рэнд

АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ

EDITOR'S
CHOICE



МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР

альпина
ПАБЛИШЕРЗ

ЧАСТЬ 3: А ЕСТЬ А

ЧАСТЬ 2: ИЛИ — ИЛИ

ЧАСТЬ 1: НЕПРОТИВОРЕЧИЕ

К власти в США приходят социалисты и правительство берет курс на «равные возможности», считая справедливым за счет талантливых и состоятельных сделать богатыми никчемных и бесталанных. Гонения на бизнес приводят к разрушению экономики, к тому же один за другим при загадочных обстоятельствах начинают исчезать талантливые люди и лучшие предприниматели. Главные герои романа стальной король Хэнк Риарден и вице-президент железнодорожной компании Дагни Таггерт тщетно пытаются противостоять трагическим событиям. Вместо всеобщего процветания общество погружается в апатию и хаос.

Почему книга достойна прочтения

- Это книга, меняющая мировоззрение, она формирует целостное видение мира и дает ответы на вопросы о смысле человеческой жизни и общественном значении предпринимательства.
 - По опросам общественного мнения, проведенного в 1991 году Библиотекой Конгресса и книжным клубом «Book of the Month Club» в Америке «Атлант расправил плечи» – вторая после Библии книга, которая привела к переменам в жизни американских читателей.
 - Эта книга попала в список бестселлеров The New York Times через три дня после начала продаж и оставалась в нем на протяжении 21 недели.
 - Это самое значимое произведение в жизни писательницы, на работу над которым ушло 12 лет ее жизни.
-

Айн Рэнд

Атлант расправил плечи

*Editor's choice –
выбор главного редактора*

Есть совсем немного книг, которые способны коренным образом изменить взгляд на мир. Эта книга – одна из таких.

*Алексей Ильин, генеральный директор издательства
«Альпина Пабlishерз»*

Фрэнку О'Коннору

– Кто такой Джон Голт?

Уже темнело, и Эдди Уиллерс не мог различить лица этого типа. Бродяга произнес четыре слова просто, без выражения. Однако далекий отсвет заката, еще желтевшего в конце улицы, отражался в его глазах, и глаза эти смотрели на Эдди Уиллерса как бы и с насмешкой, и вместе с тем невозмутимо, словно вопрос был адресован снедавшему его беспричинному беспокойству.

– Почему ты спрашиваешь? – Эдди Уиллерс встревожился.

Бездельник стоял, прислонясь плечом к дверной раме, и в клинышке битого стекла за ним отражалась огненная желтизна неба.

– А почему тебя это волнует? – спросил он.

– Нисколько не волнует, – отрезал Эдди Уиллерс.

Он поспешно запустил руку в карман. Тип остановил его и попросил одолжить десять центов, а потом затеял беседу, словно бы пытаясь поскорее разделаться с настоящим мгновением и примериться к следующему. В последнее время на улицах столь часто попрошайничали, что выслушивать объяснения было незачем, и у него даже не мелькнуло ни малейшего желания вникать в причины финансовых трудностей этого бродяги.

– Держи, выпьешь кофе, – обратился Эдди к не имеющему лица силуэту.

– Благодарю вас, сэр, – ответил ему равнодушный голос, и лицо на мгновение появилось из темноты. Загорелую и обветренную физиономию изрезали морщины, свидетельствовавшие об усталости и полном цинизма безразличии; глаза выдавали незаурядный ум. И Эдди Уиллерс отправился дальше, гадая о том, почему в это время суток он всегда испытывает беспричинный ужас. Впрочем, нет, не ужас, подумал он, бояться ему нечего: просто чрезвычайно мрачное и неопределенное предчувствие, не имеющее ни источника, ни предмета. Он успел сжиться с этим чувством, однако не мог найти ему объяснения; и все же попрошайка произнес свои слова так, как если бы знал, что чувствует Эдди, как если бы знал, что он должен ощущать, более того, как если бы знал причину.

Эдди Уиллерс распрямил плечи в надежде привести себя в порядок. Пора прекратить это, а то уже мерещиться начинает. А всегда ли с ним так было? Сейчас ему тридцать два. Эдди попытался припомнить. Нет, не всегда; однако, когда это началось, он не сумел воспроизвести в памяти. Ощущение приходило к нему внезапно и случайно, но теперь приступы повторялись чаще, чем когда-либо. «Это все сумерки, – подумал он, – ненавижу сумерки».

Облака с вырисовавшимися на них башнями небоскребов обретали коричневый оттенок, превращаясь в подобие старинной живописи, поблекшего с веками шедевра. Длинные потоки грязи бежали из-под башенок по стенам, покрытым сажей, застывшей молнией протянулась на десять этажей трещина. Зазубренный предмет рассекал небо над крышами: одна сторона его была расцвечена закатом, с другой солнечная позолота давно осыпалась. Шпиль светился красным светом, подобным отражению огня: уже не пылающего, но догорающего, который слишком поздно гасить.

Нет, не было ничего тревожного в облике города, казавшегося совершенно обычным.

Он отправился дальше, напоминая себе на ходу, что пора в контору. То, что он должен сделать после возвращения, ему не нравилось, однако отлагательств не терпело. Он заставил

себя поторопиться.

В узком пространстве между темными силуэтами двух зданий, словно в щели приоткрывшейся двери, Эдди Уиллерс увидел светящуюся в небе страничку гигантского календаря.

Этот календарь мэр Нью-Йорка воздвиг в прошлом году на крыше небоскреба, чтобы жители легко могли определить, какой сегодня день, так же легко, как и время на башне с часами. Белый прямоугольник парил над городом, сообщая текущую дату заполнявшим улицы людям. В ржавом свете заката прямоугольник сообщал: 2 сентября.

Эдди Уиллерс отвернулся. Этот календарь никогда не нравился ему, календарь раздражал Эдди, но почему, сказать он не мог. Чувство это примешивалось к сведавшей его тревоге; в них угадывалось нечто общее.

Ему вдруг припомнился осколок некой фразы, выражавшей то, на что намекал своим существованием календарь. Однако никак не удавалось отыскать эту фразу. Эдди шел, пытаясь все же наполнить смыслом то, что пока застряло в сознании пустым силуэтом. Очертания противились словам, но исчезать не желали. Он обернулся. Белый прямоугольник возвышался над крышей, оповещая с непрекаемой решительностью: 2 сентября.

Эдди Уиллерс перевел взгляд на улицу, на тележку с овощами, стоявшую у дома из красного кирпича. Он увидел груды яркой золотистой моркови и свежие перья зеленого лука. Чистая белая занавеска плескалась из открытого окна. Автобус аккуратно заворачивал за угол, повинаясь умелой руке. Уиллерс удивился вернувшемуся чувству уверенности и странному, необъяснимому желанию защитить этот мир от давящей пустоты неба.

Дойдя до Пятой авеню, он принялся рассматривать витрины магазинов. Ему ничего не было нужно, он ничего не хотел покупать; но ему нравились витрины с товарами, любыми товарами, сделанными людьми и предназначенными для людей. Видеть процветающую улицу всегда приятно; здесь было закрыто не более четверти магазинов, и пустовали только их темные витрины.

Не зная почему, он вспомнил дуб. Ничто здесь не напоминало это дерево, но он вспомнил летние дни, проведенные в поместье Таггертов. Большая часть его детства прошла в компании детей Таггертов, а теперь он работал в их корпорации, как его дед и отец работали у деда и отца Таггертов.

Огромный дуб высился на выходящем к Гудзону холме, расположенном в укромном уголке поместья. В возрасте семи лет Эдди Уиллерс любил приходить к этому дереву. Оно уже простояло здесь не одну сотню лет, и мальчику казалось, что так будет всегда. Корни дуба впивались в холм, как ухватившая землю пятерня, и Эдди казалось, что, даже если великан схватит дерево за верхушку, он все равно не сумеет вырвать его, но лишь пошатнет холм, а вместе с ним и всю землю, которая повиснет на корнях дерева словно шарик на веревочке. Он чувствовал себя в безопасности возле этого дуба: дерево не могло таить в себе угрозу, оно воплощало величайший, с точки зрения мальчика, символ силы.

Но однажды ночью в дуб ударила молния. Эдди увидел дерево на следующее утро. Дуб переломился пополам, и он заглянул внутрь ствола как в жерло черного тоннеля. Ствол оказался пустым; сердцевина давным-давно сгнила, внутри остался только мелкий серый прах, который уносило дыхание легкого ветерка. Жизнь ушла, а оставленная ею форма не могла существовать самостоятельно.

Позже он узнал, что детей надлежит защищать от потрясений: от соприкосновения со смертью, болью или страхом. Теперь это уже не могло ранить его; он испытал свою меру

ужаса и отчаяния, заглядывая в черную дыру посреди ствола. Случившееся было подобно невероятному предательству – тем более страшному, что он не мог понять, в чем именно оно заключалось. И дело не в нем, не в его вере, он знал это; речь шла о чем-то совершенно другом. Он постоял немного, не проронив ни звука, а потом отправился назад, к дому. Ни тогда, ни после он никому не рассказывал об этом.

Эдди Уиллерс покачал головой, когда скрежет ржавого механизма, переключавшего огни в светофоре, остановил его на краю тротуара. Он был рассержен на себя самого. Сегодня у него не было никаких причин вспоминать про этот дуб. Давняя история ничего более не значила для него, кроме легкого прикосновения печали, но где-то внутри капельки боли, торопливо скользившие словно по оконному стеклу, оставляли за собой след в виде вопросительного знака.

Он не хотел, чтобы с детскими воспоминаниями было связано нечто печальное; он любил все, связанное со своим детством: каждый из прежних дней был заполнен спокойным и ослепительным солнечным светом. Ему казалось, что несколько лучей этого света еще достигают настоящего: впрочем, скорее, не лучей, а дальних огоньков, иногда своими отблесками озарявших его работу, одинокую квартиру, тихое и размеренное шествие дней.

Эдди припомнил один из летних дней, когда ему было десять лет. Тогда на лесной прогалине любимая подруга детства рассказывала ему о том, что они будут делать, когда вырастут. Ее слова ослепляли сильнее, чем солнце. Он внимал ей с восхищением и удивлением и, когда она спросила, чем бы он хотел заниматься, ответил без промедления:

– Чем-нибудь правильным, – и добавил: – Надо бы совершить что-нибудь великое... Ну, то есть нам вдвоем.

– Что же именно? – спросила она.

Он ответил:

– Не знаю. Мы должны это узнать. Но не только то, о чем ты говорила – про свой бизнес, про то, как заработать на жизнь. Ну, вроде того, чтобы победить в сражении, спасти людей из огня или подняться на вершину горы.

– Зачем? – спросила она, и он ответил:

– В прошлое воскресенье священник говорил, что мы всегда должны искать в себе лучшее. А что, по-твоему, может быть в нас лучшим?

– Не знаю.

– Мы должны это узнать.

Она не ответила – потому что глядела вдаль, вдоль железнодорожной колеи.

Эдди Уиллерс улыбнулся. Он произнес эти слова – «чем-нибудь правильным» – 22 года назад, и с тех пор они оставались для него аксиомой. Прочие вопросы тускнели в его памяти: он был слишком занят, чтобы задаваться ими. Однако он считал бесспорным, что делать надлежит то, что считаешь правильным; он так и не сумел понять, почему люди могут поступать иначе, хотя знал, что именно так они и делают. Все казалось ему одновременно и простым, и непостижимым: простым в том смысле, что все должно быть правильным, и непостижимым потому, что так не получалось. Думая об этом, он и подошел к огромному зданию «*Таггерт Трансконтинентал*».

Оно было самым высоким и горделивым на всей улице. Глядя на него, Эдди Уиллерс всегда улыбался. В длинных рядах окон – ни одного разбитого, в отличие от соседних домов. Контуры здания, вздымаясь вверх, врезались в небо. Казалось, здание возвышалось

над годами, неподвластное времени. «Оно будет всегда здесь стоять», – думал Эдди Уиллерс.

Всякий раз, входя в корпорацию «*Таггерт*», он ощущал облегчение и чувствовал себя в безопасности. Здесь властвовали компетентность и порядок. Полированный мрамор пола сверкал. Матовые прямоугольные плафоны ламп излучали приятный ровный свет. По ту сторону стеклянных панелей сидели за пишущими машинками девушки, чьи барабанные по клавишам пальцы создавали в зале гул идущего поезда. И подобно ответному эху, время от времени по стенам здания пробегал слабый трепет, поднимавшийся снизу, из тоннелей огромного вокзала, откуда поезда отправлялись через континент и где они заканчивали свой обратный путь, как было из поколения в поколение. «От океана до океана» – так звучал гордый лозунг «*Таггерт Трансконтинентал*», куда более блистательный и священный, чем любая из библейских заповедей! «От океана до океана, и вовеки веков», – подумал Эдди Уиллерс, переосмысливая эти слова на пути по безупречным коридорам к кабинету Джеймса Таггерта, президента «*Таггерт Трансконтинентал*».

Джеймс Таггерт сидел за столом. Он казался человеком, уже приближающимся к пятидесяти годам; создавалось впечатление, что, миновав период молодости, он вступил в зрелый возраст прямо из юности. У него был небольшой капризный рот, высокий лысеющий лоб, который облепляли жидкие волоски. В его осанке была какая-то вялость и расслабленность, противоречащая контурам высокого стройного тела, элегантность которого требовала уверенности аристократа, а преобразилась в неуклюжесть деревенщины. У него было мягкое бледное лицо и блеклые затуманенные глаза, взгляд которых неторопливо блуждал вокруг, переходя с предмета на предмет, не останавливаясь на них. Он выглядел уставшим и болезненным. Ему было тридцать девять лет.

Он с раздражением оглянулся на звук открывшейся двери.

– Не отрывай, не отрывай, не отрывай меня, – сказал Джеймс Таггерт.

Эдди Уиллерс направился прямо к столу.

– Это важно, Джим, – сказал он, не повышая голоса.

– Ну, ладно, ладно, что там у тебя?

Эдди Уиллерс посмотрел на карту, висевшую на стене кабинета. Под стеклом краски ее казались блеклыми; интересно знать, сколько президентов компании «*Таггерт*» сидели под ней и сколько лет. Железные дороги «*Таггерт Трансконтинентал*» – сеть красных линий, покрывавшая бесцветную плоть страны от Нью-Йорка до Сан-Франциско, напоминала систему кровеносных сосудов. Некогда в главную артерию впрыснули кровь, и от избытка она стала разбегаться по всей стране, разветвляясь на случайные ручейки. Одна из красных дорожек «*Таггерт Трансконтинентал*», линия Рио-Норте, проложила себе путь от Шайенна в Вайоминге, до Эль-Пасо в Техасе. Недавно добавилась новая ветка, и красная полоса устремилась на юг за Эль-Пасо, но Эдди Уиллерс поспешно отвернулся, когда глаза его коснулись этой точки.

Посмотрев на Джеймса Таггерта, он сказал: «Неприятности на линии Рио-Норте. Новое крушение».

Взгляд Таггерта опустился вниз, на край стола.

– Аварии на железных дорогах случаются каждый день. Стоило ли беспокоить меня по таким пустякам?

– Ты знаешь, о чем я говорю, Джим. Рио-Норте разваливается на глазах. Ветка обветшала. Вся линия.

– Мы построим новые пути.

Эдди Уиллерс продолжил, словно не слыша ответа:

– Линия обречена, нет смысла пускать по ней поезда. Люди отказываются ездить в них.

– На мой взгляд, во всей стране не найдется ни одной железной дороги, несколько веток которой не работали бы в убыток. Мы здесь не единственные. В таком состоянии находится государство – временно, как я полагаю.

Эдди не проронил ни слова. Просто *посмотрел*. Таггерту никогда не нравилась привычка Эдди Уиллерса глядеть людям прямо в глаза. Большие голубые глаза на открытом лице Эдди вопросительно смотрели из-под светлой челки – ничем не примечательный облик, если не считать искреннего внимания и нескрываемого недоумения.

– Что тебе нужно? – отрезал Таггерт.

– Хочу сказать тебе то, что должен, ведь рано или поздно ты все равно узнаешь правду.

– То, что у нас новая авария?

– То, что мы не можем бросить Рио-Норте на произвол судьбы.

Джеймс Таггерт редко поднимал голову; глядя на людей, он просто поднимал тяжелые веки и смотрел вверх исподлобья.

– А кто собирается закрывать линию Рио-Норте? – спросил он. – Об этом никто и не думал. Жаль, что ты так говоришь. Очень жаль.

– Но вот уже полгода мы нарушаем расписание. У нас не проходит и рейса без какой-нибудь поломки, большой или малой. Мы теряем всех грузоотправителей, одного за другим. Сколько мы еще продержимся?

– Ты – пессимист, Эдди. Тебе не хватает веры. А это подтачивает дух фирмы.

– Ты хочешь сказать, что в отношении линии Рио-Норте ничего предприниматься не будет?

– Я не говорил этого. Как только мы проложим новую колею...

– Джим, новой колеи не будет. – Брови Таггерта неторопливо поползли вверх. – Я только что вернулся из конторы «*Ассошиэйтед Стил*». Я разговаривал с Орреном Бойлем.

– И что он сказал?

– Говорил полтора часа, но так и не дал мне прямого и ясного ответа.

– Зачем ты его побеспокоил? По-моему, первая партия рельсов должна поступить только в следующем месяце.

– Она должна была прийти три месяца назад.

– Непредвиденные обстоятельства. Абсолютно не зависящие от Оррена.

– А первый срок поставки был назначен еще на полгода раньше. Джим, мы ждем эти рельсы от «*Ассошиэйтед Стил*» уже тринадцать месяцев.

– И чего ты от меня хочешь? Я не могу вмешиваться в дела Оррена Бойля.

– Я хочу, чтобы ты понял: ждать больше нельзя.

Негромким голосом, насмешливым и осторожным, Таггерт осведомился:

– И что же сказала моя сестрица?

– Она вернется только завтра.

– Ну и что, по-твоему, мне надо делать?

– Решать тебе.

– Ну, что бы ты ни сказал далее, ты не упомянешь о «*Риарден Стил*».

Немного помедлив, Эдди невозмутимо произнес:

– Хорошо, Джим. Я не стану упоминать об этой компании.

– Оррен – мой друг. – Таггерт не услышал ответа. – И мне обидна твоя позиция. Оррен

Бойль поставит нам эти рельсы при первой возможности. И пока он не может этого сделать, никто не вправе обвинять нас.

– Джим! О чем ты говоришь? Разве ты не понимаешь, что линия Рио-Норте рассыпается вне зависимости от того, обвиняют нас в этом или нет?

– Нас непременно начнут обвинять, даже без «Феникс-Дуранго». – Он заметил, как напряглось лицо Эдди. – Никто еще не жаловался на линию Рио-Норте, пока на сцене не появилась компания «Феникс-Дуранго».

– «Феникс-Дуранго» работает просто прекрасно.

– Представь себе, такая мелюзга, как «Феникс-Дуранго», конкурирует с «Таггерт Трансконтинентал»! Всего-то десять лет назад эта компания была сельской веткой.

– Теперь им принадлежат почти все грузовые перевозки Аризоны, Нью-Мексико и Колорадо. – Таггерт не ответил. – Джим, мы не можем терять Колорадо. Это наша последняя надежда. И не только наша. Если мы не соберемся, то уступим «Феникс-Дуранго» всех крупных грузоотправителей штата. Мы и так потеряли нефтяные месторождения Уайэтта.

– Не понимаю, почему все вокруг только и говорят, что о нефтяных месторождениях Уайэтта.

– Потому что Эллис Уайэтт – чудо...

– К черту Эллиса Уайэтта!

«А нет ли у этих нефтяных месторождений, – вдруг пришло в голову Эдди, – чего-то общего с кровеносными сосудами, нарисованными на карте? И не случайно ли когда-то красный ручей «Таггерт Трансконтинентал» пересек всю страну, совершив невозможное?» Ему представились скважины, выбрасывающие нефтяные потоки, черными реками разливающиеся по континенту едва ли не быстрее, чем поезда «Феникс-Дуранго». Это месторождение занимало скалистый пятачок в горах Колорадо и уже давно считалось выработанным и заброшенным. Отец Эллиса Уайэтта умел выжимать из задыхавшихся скважин скромный доход до конца своих дней. А теперь словно бы кто-то впрыснул адреналин в самое сердце горы, и оно забилось по-новому, гоня черную кровь. Конечно же, кровь, подумал Эдди Уиллерс, ибо кровь питает, животворит, и это сделала нефть «Уайэтт Ойл». Она дала пустынным склонам новую жизнь, дала району, ничем прежде не отмеченному ни на одной карте, новые города, новые электростанции, новые фабрики. «Новые фабрики в то самое время, когда доходы от перевозок продукции всех знаменитых прежде предприятий год за годом постепенно сокращались; богатые новые месторождения, в то время, когда один за другим останавливались насосы скважин известных месторождений; новый промышленный штат там, где всякий рассчитывал обнаружить разве что несколько коров и засаженный свеклой огород. Это сделал один человек, причем всего за восемь лет», – размышлял Эдди Уиллерс, вспоминая невероятные истории, которые ему приходилось читать в школьных учебниках и которым он не слишком доверял, – рассказы о людях, живших в период становления этой страны. Ему хотелось бы познакомиться с Эллисом Уайэттом. Об этом человеке часто говорили, но встречались с ним немногие, поскольку он редко приезжал в Нью-Йорк. Будто ему тридцать три года, и он обладает буйным нравом. Он обнаружил какой-то способ возродить истощенные нефтяные месторождения, чем и занимался по сию пору.

– Эллис Уайэтт – жадный ублюдок, не интересующийся ничем, кроме денег, – промолвил Джеймс Таггерт. – На мой взгляд, в жизни есть занятия поважнее, чем делать

деньги.

– О чем ты, Джим? Какое это имеет отношение к...

– К тому же он дважды подвел нас. Мы много лет весьма исправно обслуживали нефтяные месторождения Уайэтта. При самом старике Уайэтте мы отправляли состав цистерн раз в неделю.

– Сейчас не те времена, Джим. «Феникс-Дуранго» отправляет оттуда два состава цистерн ежедневно, и ходят они по расписанию.

– Если бы он позволил нам угнаться за ним...

– Он не может тратить время понапрасну.

– Чего же он ожидает? Чтобы мы отказались от всех прочих отправителей, принесли в жертву интересы всей страны и предоставили ему все наши поезда?

– С какой стати? Он ничего не ждет. Просто работает с «Феникс-Дуранго».

– По-моему, он – беспринципный, неразборчивый в средствах негодяй. Я вижу в нем безответственного, явно переоцененного выскочку. – Подобная вспышка эмоций в безжизненном голосе Джеймса Таггерта казалась даже неестественной. – И я совсем не уверен, что его нефтяные разработки представляют собой такое уж благо. На мой взгляд, он вывел из равновесия экономику целой страны. Никто не ожидал, что Колорадо сделается промышленным штатом. Разве можно быть в чем-то уверенным или планировать наперед, если все так быстро меняется?

– Великий боже, Джим! Он...

– Да знаю я, знаю: он делает деньги. Но только мне кажется, что не этим надлежит измерять пользу человека для общества. А что касается его нефти, он приполз бы к нам и ждал своей очереди вместе с другими отправителями, не требуя при этом ничего свыше своей честной доли перевозок, если бы не «Феникс – Дуранго».

Что-то давит на грудь и виски, подумал Эдди Уиллерс, наверно, из-за усилий, которые он прилагал, дабы сдержаться. Он решил выяснить все раз и навсегда; и необходимость этого была настолько остра, что просто не могла остаться за пределами понимания Таггерта, если только он, Эдди, сумеет убедительно изложить факты. Потому-то он так и старался, но снова явно терпел неудачу, как и в большинстве их споров: всегда казалось, что они говорили о разных вещах.

– Джим, да о чем ты? Какая разница, будут нас обвинять или нет, если дорога все равно разваливается?

На лице Таггерта появилась едва заметная холодная усмешка.

– Как это мило, Эдди, – сказал он. – Как меня трогает твоя преданность «*Таггерт Трансконтинентал*». Смотри, если не поостережешься, то неминуемо превратишься в самого безропотного крепостного или раба.

– Я уже стал им, Джим.

– Но позволь мне тогда спросить, имеешь ли ты право обсуждать со мной подобные вопросы?

– Не имею.

– А почему бы тебе не вспомнить, что *подобные вопросы* решаются у нас на уровне начальников отделов? Почему бы тебе не обратиться к коллегам, решающим такие задачи? Или не выплакаться на плече моей драгоценной сестрицы?

– Вот что, Джим, я знаю, что моя должность не дает мне права обсуждать с тобой эти вопросы. Но я не понимаю, что происходит. Я не знаю, что тебе говорят твои штатные

советники и почему они не в состоянии должным образом держать тебя в курсе, поэтому я попытался сделать это сам.

– Я ценю нашу детскую дружбу, Эдди, но неужели ты считаешь, что она позволяет тебе являться в мой кабинет без вызова, по собственному желанию? У тебя есть определенный статус, но не забывай, что президент «*Таггерт Трансконтинентал*» пока еще я.

Итак, попытка не удалась. Эдди Уиллерс привычно, даже как-то равнодушно посмотрел на него и спросил:

– Так, значит, ты не собираешься делать что-либо для спасения Рио-Норте?

– Я этого не говорил. Я этого совсем не говорил. – Таггерт уставился на карту, на красную полосу к югу от Эль-Пасо. – Как только заработают рудники Сан-Себастьян и начнет купаться наша мексиканская ветка...

– Давай не будем об этом, Джим.

Таггерт резко повернулся, удивленный неожиданно жестким тоном Эдди:

– В чем дело?

– Ты знаешь. Твоя сестра сказала...

– К черту мою сестру! – воскликнул Джеймс Таггерт.

Эдди Уиллерс не шевельнулся. И не ответил. Он стоял и смотрел прямо перед собой, не видя никого в этом кабинете, не замечая более Джеймса Таггерта.

Спустя мгновение он поклонился и вышел.

Сотрудники «*Таггерт Трансконтинентал*» уже выключали лампы, собираясь отправляться по домам после завершения рабочего дня. Только Поп Харпер, старший клерк, еще сидел за столом, вертя рычажки полуразобранной пишущей машинки. По общему мнению сотрудников компании, Поп Харпер родился в этом уголке кабинета, за этим самым столом, и не намеревается покидать его. Он был главным клерком еще у отца Джеймса Таггерта.

Поп Харпер поднял глаза от машинки и посмотрел на Эдди Уиллерса, вышедшего из кабинета президента. Мудрый и неторопливый взгляд будто намекал, что ему известно: визит Эдди в эту часть здания означал неприятности на одной из веток, равно как и то, что визит этот оказался бесплодным. Но Попу Харперу все вышеперечисленное было совершенно безразлично. То же самое циничное безразличие Эдди Уиллерс видел и в глазах бродяги на уличном перекрестке.

– А скажи-ка, Эдди, где сейчас можно купить шерстяное белье? – спросил Поп. – Обыскал весь город, но нигде не нашел.

– Не знаю, – произнес Эдди, останавливаясь. – Но почему вы *меня* об этом спрашиваете?

– А я у всех спрашиваю. Может, хоть кто-то скажет.

Эдди настороженно посмотрел на седую шевелюру и на морщинистое равнодушное лицо Харпера.

– Холодно в этой лавочке, – проговорил Поп Харпер. – А зимой будет еще холоднее.

– Что вы делаете? – спросил Эдди, указывая на детали пишущей машинки.

– Проклятая штуковина снова сломалась. Посылать в ремонт бесполезно, в прошлый раз провозились три месяца. Вот я и решил починить ее сам. Ненадолго, конечно...

Рука его легла на клавиши.

– Пора тебе на свалку, старина. Твои дни сочтены.

Эдди вздрогнул. Именно эту фразу он пытался вспомнить: «*Твои дни сочтены*». Однако

он забыл, в связи с чем.

– Бесплезно, Эдди, – произнес Поп Харпер.

– Что бесплезно?

– Все. Все, что угодно.

– О чем ты, Поп?

– Я не собираюсь подавать заявку на приобретение новой пишущей машинки. Новые штампуют из жести. И когда сдохнут старые, придет конец машинописным текстам. Сегодня в подземке была авария, тормоза не сработали. Ступай-ка ты домой, Эдди, включи радио и послушай хорошую музыку. А о делах забудь, парень. Беда твоя в том, что у тебя никогда не было хобби. У меня дома кто-то опять украл с лестницы все лампочки. И грудь болит. Сегодня утром не смог купить капель от кашля: аптека у нас на углу разорилась на прошлой неделе. И железнодорожная компания «*Техас-Вестерн*» разорилась в прошлом месяце. Вчера закрыли на ремонт мост Квинсборо. О чем это я? И вообще, кто такой Джон Голт?

* * *

Она сидела в поезде возле окна, откинув голову назад и положив одну ногу на пустое сиденье напротив. Скорость движения заставляла подрагивать оконную раму, за которой висела темная пустота, и лишь фонари время от времени прочерчивали по стеклу яркие полосы.

Изящество ее ног и элeгантность туфель на высоком каблуке казались неуместными в пыльном вагоне поезда и странным образом не гармонировали с ее обликом. Мешковатое, некогда дорогое пальто из верблюжьей шерсти, укутывало стройное тело. Воротник пальто был поднят к отогнутым вниз полям шляпки. Каре каштановых волос почти касалось плеч. Лицо казалось составленным из ломаных линий, с четко очерченным чувственным ртом. Ее губы были плотно сжаты. Она сидела, сунув руки в карманы, и в ее позе было что-то неестественное, словно она была недовольна своей неподвижностью, и что-то неженственное, будто она не чувствовала собственного тела.

Она сидела и слушала музыку. Это была симфония победы. Звуки взмывали ввысь, они повествовали о восхождении и были его воплощением, сутью и формой движения вверх. Эта музыка олицетворяла собой те поступки и мысли человека, смыслом которых было восхождение. Это был взрыв звука, вырвавшегося из укрытия и хлынувшего во все стороны. Восторг обретения свободы соединялся с напряженным стремлением к цели. Звук преодолевал пространство, не оставляя в нем ничего, кроме счастья несдерживаемого порыва. Лишь слабое эхо шептало о былом заточении звуков, но эта музыка жила радостным удивлением перед открытием: нет ни уродства, ни боли, нет и никогда не было. Звучала песнь Великого Высвобождения.

Всего на несколько мгновений, пока длится музыка, можно отдаться ей полностью – все забыть и разрешить себе погрузиться в ощущения: давай, отпуская тормоза – вот оно.

Где-то на краю сознания, за музыкой, стучали колеса поезда. Они выбивали ровный ритм, подчеркивая каждый четвертый удар, словно выражая тем самым осознанную цель. Она могла расслабиться, потому что слышала стук колес. Она внимала симфонии, думая: вот почему должны вращаться колеса, вот куда они несут нас.

Она никогда прежде не слышала эту симфонию, но знала, что ее написал Ричард

Халлей. Она узнала и эту бурную силу, и необычайную напряженность звучания. Она узнала его стиль: это была чистая и сложная мелодия – в то время, когда никто более не писал мелодий... Она сидела, глядя в потолок вагона, но не видела его, потому что забыла, где находится. Она не знала, слышит ли полный симфонический оркестр или только тему; быть может, оркестровка звучала только в ее голове.

Ей казалось, что предварительные отзвуки этой темы можно уловить во всех произведениях Ричарда Халлея, созданных за долгие годы его исканий, вплоть до того дня, когда на него вдруг обрушилось бремя славы, которое и погубило его. «Это, – подумала она, прислушиваясь к симфонии, – и было целью его борьбы». Она вспомнила полунамеки его музыки, предвещавшие вот эти фразы, обрывки мелодий, начинавших эту тему, но не претворявшихся в нее; когда Ричард Халлей писал это, он... Она села прямо. Так когда же Ричард Халлей написал эту музыку?

И в то же мгновение поняла, где находится, и впервые заметила, откуда исходит звук.

В нескольких шагах от нее, в конце вагона, молодой светловолосый кондуктор регулировал настройку кондиционера, насвистывая тему симфонии. Она поняла, что свистит он уже давно и именно это она и слышала.

Не веря самой себе, она некоторое время прислушивалась, прежде чем решилась спросить:

– Пожалуйста, скажи мне, что ты высвистываешь?

Юноша повернулся к ней. Встретив его прямой взгляд, она увидела открытую энергичную улыбку, словно бы он обменивался взглядом с другом. Ей понравилось его лицо: напряженные и твердые линии не имели ничего общего с расслабленными мышцами, отрицающими всякое соответствие форме, которые она так привыкла видеть на лицах людей.

– Концерт Халлея, – ответил он с улыбкой.

– Который?

– Пятый.

Позволив мгновению затянуться, она, наконец, произнесла неторопливо и весьма осторожно.

– Ричард Халлей написал только четыре концерта.

Улыбка на лице юноши исчезла. Его словно рывком вернули к реальности, как ее саму несколько мгновений назад. Словно бы щелкнул затвор, и перед ней осталось лицо, не имеющее выражения, безразличное и пустое.

– Да, конечно, – промямлил он. – Я не прав. Я ошибся.

– Тогда что же это было?

– Мелодия, которую я где-то слышал.

– Какая мелодия?

– Не знаю.

– Где ты подхватил ее?

– Не помню.

Она беспомощно смолкла; а юноша уже отворачивался от нее, не проявляя более интереса.

– Тема напомнила мне Халлея, – сказала она. – Но я знаю все симфонии, которые он когда-либо написал, и такого мотива у него нет.

Без какого-либо выражения на лице, всего лишь с легкой заинтересованностью, юноша повернулся к ней и спросил:

– А вам нравится музыка Ричарда Халлея?

– Да, – проговорила она. – Очень нравится.

Внимательно посмотрев на нее словно бы в нерешительности, он отвернулся и продолжил работу. Она отметила слаженность его движений. Работал он молча.

Она не спала две ночи, потому что не могла позволить себе уснуть; слишком многое следовало обдумать за короткое время: поезд прибывал в Нью-Йорк завтра рано утром. Ей нужно было время, тем не менее, она хотела, чтобы поезд шел быстрее, хотя это была «Комета Таггера» – самый быстрый поезд во всей стране.

Она пыталась думать о чем-то, однако музыка оставалась на грани ее разума и звучала полными аккордами, подобными неумолимому шествию того, что остановить нельзя... Гневно качнув головой, она сбросила шляпу, достала сигарету и закурила.

Она решила не спать; вполне можно продержаться до завтрашней ночи... Колеса поезда выбивали акцентированный ритм. Она настолько привыкла к нему, что более уже не замечала, но сам звук превратился в душе ее в ощущение покоя. Погасив окурок, она поняла, что должна закурить новую сигарету, однако решила дать себе передышку, минуте, может быть, несколько, прежде чем...

Внезапно пробудившись, она почувствовала что-то неладное, прежде чем поняла: поезд остановился. Освещенный синими ночниками, вагон застыл на месте. Она посмотрела на часы: причин для остановки не было. Она поглядела в окно: поезд стоял посреди чистого поля.

Кто-то шевельнулся на сиденье по ту сторону прохода, и она спросила:

– Давно стоим?

Безразличный мужской голос ответил:

– Около часа.

Мужчина проводил ее взглядом, полным сонного удивления, когда она вскочила с места и рванулась к двери. Снаружи задувал прохладный ветер, пустынное поле раскинулось под столь же пустынным небом. Ночная тьма шелестела травой. Далеко впереди она заметила людей, стоявших возле паровоза, – а над ними в небе повис красный глазок семафора.

Она торопливо направилась к ним вдоль вереницы неподвижных колес. На нее не обратили никакого внимания. Поездная бригада вместе с несколькими пассажирами стояла под красным огоньком. Разговора не было, все застыли в безмолвном ожидании.

– В чем дело? – спросила она.

Машинист удивленно повернулся к ней. Слетевший с ее уст вопрос звучал, скорее, как приказ, а не как подобающее пассажиру любопытство. Она стояла, держа руки в карманах, подняв воротник пальто, ветер развеивал волосы.

– Красный свет, леди, – указал он пальцем на семафор.

– И давно он горит?

– Уже час.

– Мы не на главной колее, так ведь?

– Правильно.

– Почему?

– Не знаю.

Заговорил проводник:

– Не думаю, что нас специально перевели на боковой путь, просто стрелка забарахлила,

как и эта штукавина. — Он указал головой на красный глазок.

— Едва ли сигнал переменится. Я думаю, он просто сломался.

— Тогда что вы тут делаете?

— Ждем, пока свет переключится.

Пока ее раздражение переходило в гнев, кочегар усмехнулся:

— На прошлой неделе экстренный «Южно-атлантический» простоял на боковом пути два часа по чьей-то ошибке.

— Это «Комета Таггерт», — проговорила она. — «Комета» еще никогда не опаздывала.

— Только одна во всей стране, — отозвался машинист.

— Все когда-то случается в первый раз, — прокомментировал кочегар.

— Не знаете вы железных дорог, леди, — сказал один из пассажиров, — на всей железной дороге в этих сельских краях не найдется ни одного стоящего диспетчера.

Словно и не замечая его, она обратилась к машинисту.

— Если семафор сломан, что вы намерены предпринять?

Ему не понравился ее властный тон; он не понимал, отчего эта нотка звучит в голосе простой пассажирки столь *естественно*. Она выглядела как юная девушка, но рот и глаза свидетельствовали, что этой женщине за тридцать. Прямой взгляд темно-серых глаз смущал, он словно бы прорезал предметы до самой сути, отбрасывая в сторону незначительные подробности. Лицо ее показалось механику странно знакомым, хотя он не мог припомнить, где именно видел эту особу.

— Леди, я не желаю рисковать, — проговорил он.

— Он хочет сказать, — сказал кочегар, — что наше дело — ждать приказа.

— Ваше дело — вести этот поезд.

— Не на красный свет. Если семафор говорит нам стоять, мы стоим.

— Красный свет указывает на опасность, леди, — сказал пассажир.

— Мы не вправе рисковать, — поддакнул машинист. — Кто бы ни был сейчас виноват, если мы сдвинемся с места, то станем виноватыми сами. Поэтому мы останемся на месте до получения соответствующего распоряжения.

— А если такового не поступит?

— Рано или поздно кто-нибудь да появится.

— И как долго вы намерены ждать?

Машинист пожал плечами:

— А кто такой Джон Голт?

— Он хочет сказать, — пояснил кочегар, — что не надо задавать бесполезных вопросов.

Она посмотрела на красный свет, на рельсы, терявшиеся в черной, нетронутой дали.

— Поезжайте осторожно до следующего семафора. Если он в порядке, возвращайтесь на главный путь. А там остановитесь на первой же станции.

— Да ну? И кто же мне это говорит?

— Я.

— Кто это, *вы*?

Последовала кратчайшая из пауз, мгновенное удивление вопросу, которого она не ожидала, но машинист внимательнее присмотрелся к ее лицу и только ахнул:

— Великий боже!

Она ответила без обиды, просто как человек, которому нечасто приходится слышать такой вопрос:

– Дагни Таггерт.

– Ну, ей-богу, – проворчал кочегар, и все сразу смолкли. Она продолжила столь же непреклонно властным тоном:

– Возвращайтесь на основной путь и остановите поезд на первой же открытой станции.

– Да, мисс Таггерт.

– Вам придется нагнать опоздание. У вас для этого есть весь остаток ночи. *«Комета»* должна прийти по расписанию.

– Да, мисс Таггерт.

Она повернулась, чтобы уйти, когда машинист осторожно поинтересовался:

– В случае любых неприятностей вы берете ответственность на себя, мисс Таггерт?

– Беру.

Проводник проводил ее до вагона. Он волновался и говорил:

– Но... простое место в сидячем вагоне, мисс Таггерт? Как же так вышло? Почему вы не дали нам знать?

Она непринужденно улыбнулась:

– У меня не было времени на формальности. Мой персональный вагон был присоединен к чикагскому поезду номер 22, но я сошла в Кливленде, а двадцать второй возвращался слишком поздно, поэтому я не стала его ждать. Первой пришла *«Комета»*, и я воспользовалась ею, а в спальнях вагонах не было мест.

Проводник покачал головой:

– Ваш брат так не поступил бы.

Она рассмеялась:

– Да, вы правы.

Стоявшие у паровоза люди проводили ее глазами. Среди них был и юный кондуктор, кивнувший ей вслед:

– Кто это?

– Хозяйка *«Таггерт Трансконтинентал»*, – ответил машинист полным неподдельного уважения голосом, – вице-президент, руководитель производственного отдела.

Поезд тронулся, звук паровозного свистка прокатился над полями и смолк. Она сидела возле окна, раскуривая новую сигарету, и думала: «Все разваливается на части, по всей стране, неприятностей можно ожидать повсюду и в любой момент». Однако она не чувствовала гнева или тревоги, у нее не было времени для этого.

Это всего только один вопрос, который следует разрешить вместе со всеми остальными. Она знала, что управляющий отделением фирмы в Огайо никуда не годится, но он приятель Джеймса Таггерта. Она еще не настояла на том, чтобы управляющего выставили с работы, только потому, что ей нечем было его заменить. Хороших работников трудно найти. Однако теперь придется отделаться от него, и место это она отдаст Оуэну Келлогу, молодому инженеру, блестяще проявившему себя в качестве одного из помощников управляющего вокзалом *«Таггерт»* в Нью-Йорке; по сути дела, он и руководил всем. Некоторое время она следила за его работой; она всегда искала проблески таланта, подобно охотнику за алмазами на ничем не примечательной пустоши. Келлог был еще слишком молод для руководителя отделом, и она хотела предложить ему новый пост через год, но времени на размышления уже не оставалось. Ей придется поговорить с ним сразу после возвращения.

Едва различимая полоска земли за окном теперь бежала быстрее, превращаясь в серый ручей. За сухими вычислениями, занимавшими ее ум, Дагни отметила, что может еще что-то

чувствовать: это было сильное, опьяняющее желание действовать.

* * *

«Комета» со свистом нырнула в тоннель вокзала «Таггерт» под Нью-Йорком, и Дагни Таггерт выпрямилась в кресле. Когда поезд уходил под землю, она всегда ощущала чувство решимости, надежды и скрытого волнения. Казалось, что обыденное существование было расплывчатой, грубо раскрашенной фотографией, но здесь становилось наброском, сделанным несколькими резкими движениями кисти, превращавшими изображение в нечто чистое, важное, стоящее.

За окном бежали стены тоннеля: голый бетон, покрытый переплетением проводов и кабелей, сетка рельсов, исчезающих во мгле тоннелей, из которых цветными каплями посвечивали далекие красные и зеленые огни семафоров. Здесь не было ничего лишнего, ничто не разбавляло реальность, так что оставалось только восхищаться чистой целесообразностью и человеческой изобретательностью, благодаря которой это стало возможным. На мгновение Дагни представилось высящееся сейчас над ее головой, рвущееся к небу здание компании «Таггерт». И она подумала: это – корни здания, полые, вьющиеся под землей корни, питающие весь город.

Она вышла на вокзале; бетонный перрон давал ощущение надежности, а это вселяло в сердце легкость, подъем, стремление действовать. Она прибавила шаг, словно бы скорость могла придать форму тому, что она чувствовала. И лишь через несколько мгновений поняла, что насвистывает мелодию и что это тема Пятого концерта Халлея. Чей-то взгляд заставил ее обернуться: молодой кондуктор пристально смотрел ей вслед.

* * *

Дагни Таггерт сидела на ручке просторного кресла, повернутого к столу Джеймса Таггерта, в расстегнутом пальто поверх мятого дорожного костюма. Эдди Уиллерс расположился в другом конце кабинета и время от времени делал какие-то заметки. Он занимал должность специального помощника вице-президента по грузовым перевозкам, и основной обязанностью его было оберегать Дагни от пустой траты времени. Она всегда просила его присутствовать при разговорах подобного рода, поскольку в этом случае ей ничего не нужно было впоследствии ему объяснять. Джеймс Таггерт сидел за столом, втянув голову в плечи.

– Линия Рио-Норте – сплошная груда мусора, от начала до конца, – проговорила Дагни. – Положение много хуже, чем я предполагала. Однако нам придется спасти ее.

– Конечно, – согласился Джеймс Таггерт.

– Часть рельсов можно сохранить. Но немного и ненадолго. Мы начнем укладывать новую колею в горных районах, начиная с Колорадо. Новые рельсы мы получим через два месяца.

– Но Оррен Бойль сказал, что он...

– Я заказала рельсы у «Риарден Стил».

Легкий полузадушенный вздох, долетевший со стороны Эдди Уиллерса,

свидетельствовал о чуть было не сорвавшемся с его губ вопле радости.

Джеймс Таггерт ответил не сразу.

— Дагни, почему бы тебе не сесть, как положено, в кресло? — наконец, проговорил он воинственным тоном. — никто не проводит деловые совещания таким вот образом.

— Я провожу.

Она ждала. И Таггерт спросил, стараясь не смотреть ей в глаза:

— Ты, кажется, говорила, что заказала рельсы у Риардена?

— Вчера вечером. Я позвонила ему из Кливленда.

— Но правление не давало на это согласия. И я тоже. Ты даже не посоветовалась со мной.

Протянув руку, она подняла трубку со стоявшего на столе брата телефонного аппарата и подала ему.

— Позвони Риардену и отмени заказ.

Джеймс Таггерт откинулся назад в своем кресле.

— Этого я не говорил, — сердито ответил он, — вовсе я этого не говорил.

— Значит, ты согласен?

— Этого я тоже не говорил.

Она повернулась.

— Эдди, распорядись, пусть составят контракт с «*Риарден Стил*». Джим подпишет.

Дагни извлекла из кармана мятый листок бумаги и перебрала его Эдди:

— Тут цифры и условия.

Таггерт проговорил:

— Но правление не...

— Правление не имеет к этому делу ни малейшего отношения. Ты получил от него разрешение купить рельсы тринадцать месяцев назад. А где покупать, зависит от тебя.

— На мой взгляд, едва ли стоит принимать такое решение, не предоставив правлению шанса выразить *собственное* мнение. И я не вижу причины, почему нужно заставлять меня брать всю ответственность на себя.

— Ответственность я беру на себя.

— А как насчет расходов, которые...

— Риарден просит меньше, чем «*Ассошиэйтед Стил*» Оррена Бойля.

— Да, но что делать с Орреном Бойлем?

— Я разорвала контракт. Мы имели право на это еще шесть месяцев назад.

— Когда ты сделала это?

— Вчера.

— Однако он не звонил мне, чтобы я подтвердил...

— И не позвонит.

Таггерт сидел, уставившись в стол. Дагни пыталась понять, почему брату так не хочется иметь дело с Риарденом и почему нежелание это принимает вид столь странный и нерешительный. Компания «*Риарден Стил*» была главным поставщиком «*Таггерт Трансконтинентал*» в течение десяти лет, с того дня, как Риарден зажег свою первую печь, когда их отец еще был председателем Правления железной дороги. Десять лет бóльшую часть рельсов Таггертам поставляла «*Риарден Стил*». В стране насчитывалось совсем немного фирм, исполнявших заказы строго в срок и в соответствии со всеми требованиями. Компания «*Риарден Стил*» принадлежала к их числу.

Будь я не в своем уме, подумала Дагни, то пришла бы к выводу, что брат терпеть не может вести дела с Риарденом, поскольку тот *слишком* скрупулезно исполнял свои обязанности; однако она отбросила эту мысль, поскольку, на ее взгляд, такое отношение попросту выходило за рамки здравого смысла.

– Это нечестно, – объявил Джеймс Таггерт.

– Что нечестно?

– Что мы всегда заказываем Риардену. По-моему, мы могли бы предоставить шанс и кому-то другому. Риарден не нуждается в нас; он и так крупная шишка. Нам следовало бы помочь мелким фирмам. А так мы попросту содействуем монополии.

– Джим, не надо нести чушь.

– Почему мы все и всегда заказываем у Риардена?

– Потому что так повелось.

– Генри Риарден мне не нравится.

– А мне нравится. Однако какая разница, нравится он нам или нет? Нам нужны рельсы, и только он может поставить их.

– Важно учитывать и человеческий фактор. А ты совсем не считаешься с ним.

– Джим, мы говорим о том, как спасти железную дорогу.

– Да-да, конечно-конечно, но ты абсолютно не учитываешь человеческий фактор.

– Нет. Не учитываю.

– Если мы дадим Риардену такой крупный заказ на стальные рельсы...

– Это будет не сталь, а риарден-металл.

Дагни всегда старалась строго контролировать свои эмоции, однако на этот раз ей это не удалось. Увидев выражение лица Таггерта, она расхохоталась.

Риарден-металлом назывался новый сплав, выпущенный Риарденом после десяти лет экспериментов. Он лишь недавно появился на рынке, однако не находил покупателей. Заказов на него не было.

Таггерт опешил от резкого перехода: смех вдруг сменился прежней интонацией в голосе Дагни – холодной и резкой:

– Не надо слов, Джим. Я знаю все, что ты хочешь сказать. Никто еще не использовал этот сплав. На риарден-металл нет положительных отзывов. Им никто не интересуется. Он никому не нужен. Тем не менее, наши рельсы будут изготовлены из риарден-металла.

– Но... – проговорил Таггерт, – но... никто еще не использовал его!

Он отметил с удовлетворением, что гнев лишил ее дара речи. Ему вообще нравилось замечать проявления чужих эмоций: они красным фонариком освещали темное и неизведанное поле чужой личности, отмечая ранимые места. Однако как можно испытывать *такие* чувства по отношению к, извините за выражение, *металлическому сплаву*, было для него непостижимо; да, он сделал своего рода открытие, но воспользоваться им все равно не мог.

– Лучшие специалисты в области металлургии, – произнес он, – единодушно проявляют крайний скептицизм в отношении риарден-металла...

– Оставь это, Джим.

– Ну так на чье же мнение ты полагаешься?

– Чужие мнения меня не интересуют.

– И чем же ты руководишься?

– Суждением.

– И к чьему же суждению ты прислушиваешься?

– К своему собственному.

– Но с кем ты консультировалась по этому поводу?

– Ни с кем.

– Тогда скажи на милость, что вообще известно тебе о риарден-металле?

– То, что это величайшая находка нашего рынка.

– Почему?

– Потому что сплав этот прочнее и дешевле стали; кроме того, рельсы из него переживут век любого известного нам металла.

– Но кто может утверждать это?

– Джим, в колледже я изучала инженерное дело. И берусь утверждать это, потому что вижу стоящую вещь.

– И что же ты увидела?

– Состав сплава и результаты экспериментов, которые показал мне Риарден.

– Ну если бы этот сплав на что-то годился, его уже использовали бы, а это не так, – заметив нарастающую вспышку гнева, он нервным тоном поправился: – Откуда тебе может быть известно, что это хорошо? Откуда такая уверенность? Как ты можешь принять такое решение?

– Кому-то приходится брать на себя ответственность, Джим. Кому же, по-твоему?

– Но я не понимаю, почему мы должны оказаться здесь первыми. Я совершенно этого не понимаю.

– Так ты хочешь спасти ветку Рио-Норте или нет? – Таггерт не ответил. – Если бы дорога могла это позволить, я сняла бы вообще все рельсы и заменила их на риарден-металл. Все пути пора менять. Долго они не продержатся. Но это нам пока не по карману. Сперва нам необходимо выбраться из дыры. Ты хочешь этого или нет?

– Мы по-прежнему остаемся лучшей железной дорогой страны. Дела других компаний складываются много хуже.

– Значит, ты хочешь, чтобы мы оставались в дыре?

– Я не говорил этого! Почему ты всегда все упрощаешь? И если тебя так волнуют деньги, не понимаю, почему ты так рвешься потратить их на линию Рио-Норте, когда компания «Феникс-Дуранго» нагло отобрала у нас все перевозки по ней. Зачем тратить деньги там, где у нас нет защиты от конкурента, способного воспользоваться нашими вложениями?

– Потому что «Феникс-Дуранго» – отличная компания, но я намерена сделать линию Рио-Норте еще лучше. Потому что я рассчитываю победить «Феникс-Дуранго» – но только если это станет необходимо, потому что в Колорадо хватит места не только двум, но и трем железнодорожным компаниям. Потому что я готова заложить всю дорогу, чтобы построить ветку, выходящую поближе к месторождению Эллиса Уайэтта.

– Меня тошнит от одного имени Эллиса Уайэтта.

Таггерту совсем не понравился взгляд Дагни.

– Я не вижу необходимости в немедленных действиях, – проговорил он обиженным тоном. – Например, почему ты считаешь настоящее положение «*Таггерт Трансконтинентал*» настолько уж тревожным?

– Из-за твоей политики, Джим.

– Какой политики?

– Во-первых этого тринадцатимесячного эксперимента с «*Ассошиэйтед Стил*». И во-

вторых, твоей мексиканской катастрофы.

– Правление одобрило контракт с «*Ассошиэйтед Стил*», – торопливо проговорил он. – Правление проголосовало и за строительство линии Сан-Себастьян. К тому же я не понимаю, почему ты называешь это решение катастрофой.

– Потому что мексиканское правительство готово в любой момент национализировать твою линию.

– Это ложь! – Он едва не кричал. – Это просто злобные сплетни! Опираясь на совершенно надежный внутренний источник, я готов...

– Не надо демонстрировать свой испуг, Джим, – презрительно бросила Дагни. Он промолчал.

– Сейчас паниковать бесполезно, – сказала она. – Мы можем только попытаться смягчить удар. А он будет крепким. От потери сорока миллионов долларов легко не оправишься. Однако «*Таггерт Трансконтинентал*» пришлось выдержать в прошлом много ударов, и я позабочусь, чтобы наша компания выдержала и этот.

– Я отказываюсь, просто отказываюсь обсуждать саму возможность национализации линии Сан-Себастьян!

– Отлично. Значит, мы ее не обсуждаем.

Она молчала. И он заговорил, тщательно взвешивая каждое слово.

– Не понимаю, почему ты так стремишься предоставить шанс Эллису Уайэтту, однако считаешь ошибкой участие в развитии бедной страны, которая никогда не получит такого шанса.

– Эллис Уайэтт никого не просил предоставить ему шанс. Потом, предоставлять шансы не мое дело. Я руковожу железной дорогой.

– На мой взгляд, это чрезвычайно узкая точка зрения. И мне непонятно, почему мы должны помогать одному человеку, а не целой стране.

– Помощь кому бы то ни было меня не интересует. Я хочу делать деньги.

– Это негодная позиция. Эгоистичная жажда личной выгоды отошла в прошлое. Сегодня все знают, что интересам общества в целом всегда следует отдавать предпочтение в любом деловом предприятии, которое...

– И как долго ты будешь еще уклоняться от принятия решения, Джим?

– Какого решения?

– Относительно заказа на риарден-металл.

Таггерт не отвечал. Он молча разглядывал сестру. Ей было трудно скрывать усталость, но гордую осанку подчеркивала прямая, четкая линия плеч, а плечи удерживало усилие воли, рожденное сознанием собственной правоты. Лицо ее нравилось немногим: оно было слишком холодным, а глаза чересчур внимательными и строгими; ничто и никогда не могло смягчить их взгляд. Точеные ноги раздражали Таггерта, поскольку никак не соответствовали столь неженственному образу.

Она молчала, и ему пришлось спросить:

– Ты сделала этот заказ, повинуясь минутному настроению, по телефону?

– Я приняла это решение полгода назад. И ждала, когда Хэнк Риарден запустит сплав в производство.

– Не зови Риардена Хэнком. Это вульгарно.

– Так все его называют. И не отклоняйся от темы.

– Почему тебе пришлось звонить ему по телефону вчера вечером?

– Нужно было поскорее договориться.

– Разве ты не могла подождать, пока не вернешься в Нью-Йорк, и тогда...

– Потому что я видела линию Рио-Норте.

– Ну мне необходимо время, чтобы подумать, поставить вопрос перед правлением, обратиться к лучшим...

– Времени нет.

– Ты не даешь мне возможности сосредоточиться, составить собственное мнение о...

– Твое мнение меня не интересует. Я не намерена спорить с тобой, твоим правлением или профессорами. Ты должен сделать выбор, и ты сделаешь его прямо сейчас. Просто скажешь «да» или «нет».

– Это совершенно нелепый, полный произвола и высокомерия способ ведения дел...

– Да или нет?

– Вечно с тобой одна и та же история. Тебе все хочется разделить на белое и черное.

Но мир устроен совсем не так. В нем нет ничего абсолютного.

– Кроме металлических рельсов. Или мы покупаем их, или нет.

Она ждала. Таггерт безмолвствовал.

– Ну? – спросила она.

– Ты берешь ответственность на себя?

– Беру.

– Тогда действуй, – проговорил он и поспешно добавил: – только на собственный страх и риск. Я не стану отменять твое соглашение с Риарденом, но и не стану защищать его на заседании правления.

– Дело твое.

Дагни поднялась, чтобы уйти. Таггерт склонился над столом, явно не решаясь закончить встречу столь резко.

– Ты, конечно, понимаешь, что для проведения решения потребуется более продолжительная процедура, – сказал он, чуть ли не с надеждой в голосе. – Одним разговором со мной ты не отделаешься.

– О конечно, – проговорила она. – Я пришлю тебе подробный отчет, который подготовит Эдди и который ты читать не будешь. Эдди поможет тебе провести его по инстанциям. Сегодня вечером я отправляюсь в Филадельфию на встречу с Риарденом. Нам с ним придется как следует потрудиться, – и добавила: – Все просто, Джим.

Она уже повернулась, чтобы уйти, когда он заговорил снова, и слова его казались совершенно не относящимися к делу:

– Тебе все сходит с рук, потому что тебе везет. Другим это не удастся.

– Что не удастся?

– Другие люди устроены, как полагается людям. У них есть чувства. Они не могут посвятить всю свою жизнь металлам и двигателям. Тебе повезло – чувств у тебя нет никаких. И никогда не было.

Она поглядела на него, и удивление в ее серых глазах сменилось спокойствием, а потом странным выражением, скорее напоминавшим усталость, если не считать того, что читалось в нем нечто большее, чем просто принятие истины настоящего момента.

– Да, Джим, – ответила она негромко, – действительно, чувств у меня нет и никогда не было.

Эдди Уиллерс проводил Дагни в ее кабинет. Она вернулась, и он ощутил, что мир

сделался ясным, простым и вполне приемлемым и что можно забыть о смятении и неопределенности. Лишь он один находил вполне естественным то, что Дагни – женщина – занимает пост исполнительного вице-президента огромной железнодорожной компании. Еще когда ему было десять лет, она заявила, что когда-нибудь будет управлять дорогой. И теперь свершившийся факт удивлял его ничуть не больше обещания, данного некогда на лесной поляне.

Когда они оказались в ее кабинете, когда она села за стол и бросила взгляд на приготовленные им бумаги, Эдди почувствовал себя как в собственной машине: двигатель уже заработал, колеса готовы рвануться вперед.

Он уже собрался уйти, когда вспомнил, что не доложил об одном деле.

– Оуэн Келлог из Вокзального отдела просил принять его.

Она удивленно вскинула глаза.

– Забавно. А я как раз собиралась вызвать его. Пусть войдет. Он мне нужен...

– Эдди, – добавила она вдруг, – прежде чем я займусь делами, попроси, чтобы меня связали по телефону с Эйерсом из *«Эйерс Мьюзик Пабблишинг Компани»*.

– Музыкальным издательством? – с недоумением повторил он.

– Да. У меня есть к нему один вопрос.

Когда любезный голос мистера Эйерса осведомился о той услуге, которую может оказать ей, она спросила:

– Скажите мне, не написал ли Ричард Халлей новый, Пятый концерт для фортепьяно с оркестром?

– Пятый концерт, мисс Таггерт? Нет, конечно же, нет.

– Вы уверены в этом?

– Совершенно уверен, мисс Таггерт. Он не писал ничего уже восемь лет.

– Так, значит, он жив?

– Ну да... то есть я не могу гарантировать этого, он совершенно удалился от общества, но не сомневаюсь, о его смерти мы бы обязательно услышали.

– И если бы он что-нибудь написал, вы, конечно, узнали бы об этом?

– Конечно. Причем первыми. Мы публиковали все его произведения. Но он прекратил писать.

– Понимаю. Благодарю вас.

Когда Оуэн Келлог вошел в ее кабинет, Дагни посмотрела на него с удовлетворением. Ей было приятно, что она правильно запомнила его внешность, – лицо его напоминало молодого кондуктора, это было лицо человека, с которым она была готова иметь дело.

– Садитесь, мистер Келлог, – предложила она, однако он остался стоять перед ее столом.

– Когда-то вы спрашивали, не хочу ли я изменить свое служебное положение, мисс Таггерт, – проговорил он, – поэтому я пришел к вам с просьбой уволить меня.

Она ожидала услышать что угодно, но только не это; после мгновенного замешательства она спросила:

– Почему?

– По личным причинам.

– Вы чем-то не удовлетворены?

– Нет.

– Вы получили лучшее предложение?

- Нет.
- На какую железную дорогу вы переходите?
- Я не собираюсь работать на железной дороге, мисс Таггерт.
- Тогда какую же работу вы подыскиали себе?
- Я еще не принял решения.

Дагни с некоторой неловкостью рассматривала его. На лице его не было никакой вражды; он смотрел ей в глаза, отвечал просто и прямо; говорил как человек, которому нечего скрывать или выдумывать; вежливое лицо было нейтральным.

- Тогда почему вы решили уволиться?
- Это мое личное дело.
- Вы заболели? У вас неприятности со здоровьем?
- Нет.
- Вы хотите покинуть город?
- Нет.
- Вам досталось наследство, которое позволяет вам отойти от дел?
- Нет.
- Вы намереваетесь продолжать зарабатывать на жизнь?
- Да.
- Но вы не хотите работать на «*Таггерт Трансконтинентал*»?
- Не хочу.
- В таком случае здесь должно было случиться нечто, определившее ваше решение.

Что именно?

- Ничего, мисс Таггерт.
- Я хочу, чтобы вы рассказали мне все. У меня есть причины знать.
- Поверите ли вы мне на слово, мисс Таггерт?
- Да.
- Никакое лицо, дело или событие, связанное с моей работой у вас, не оказало никакого влияния на мое решение.
- Итак, у вас нет никаких претензий к «*Таггерт Трансконтинентал*»?
- Никаких.
- Но, может быть, вы передумаете, когда услышите о том, что намереваюсь предложить вам я.
- Простите, мисс Таггерт. Я не могу этого сделать.
- Может быть, я все-таки сделаю вам свое предложение?
- Да, если вам угодно.
- Поверите ли вы мне на слово, если я скажу, что решила предложить вам некий пост еще до того, как вы попросили меня принять вас? Я хочу, чтобы вы знали это.
- Я всегда верю вам на слово, мисс Таггерт.
- Я хочу предложить вам место управляющего отделением Огайо нашей дороги. Если хотите, оно – ваше.

На лице Келлога не отразилось никакой реакции, слова эти, похоже, значили для него не больше, чем для дикаря, никогда не слыхавшего о железной дороге.

- Я не хочу этого места, мисс Таггерт, – просто ответил он.

Сделав паузу, она проговорила напряженным голосом:

- Назовите свои условия, Келлог. Скажите, сколько вы хотите получать, вы нужны мне.

Я могу дать вам больше, чем предложит любая другая железная дорога.

– Я не намереваюсь работать на железных дорогах.

– Мне казалось, вы любите свою работу.

За время этого разговора он впервые обнаружил какие-то признаки чувств: глаза его чуть расширились, и со странным тихим упорством в голосе он ответил:

– Люблю.

– Тогда скажите мне, чем я могу удержать вас? – слова эти прозвучали столь непосредственно и откровенно, что явно проняли его.

– Наверно, я поступил неправильно, явившись к вам с просьбой об увольнении, мисс Таггерт. Я понимаю, что вы хотели услышать от меня причины моего решения, чтобы сделать мне контрпредложение. Поэтому мое появление здесь выглядит так, будто я готов к сделке. Но это не так. Я пришел к вам только потому что... потому что хотел сдержать свое слово.

Внезапная пауза, словно мгновение озарения, открыла Дагни, как много значили для Келлога ее интерес и просьба и что решение далось ему не просто.

– Послушайте, Келлог, неужели мне нечего предложить вам? – спросила она.

– Нечего, мисс Таггерт. Увы, ничего.

Он повернулся, чтобы уйти. И впервые в жизни Дагни ощутила свое поражение и беспомощность.

– Но почему? – спросила она, обращаясь в пространство.

Молодой человек остановился, пожал плечами и улыбнулся. На мгновение он словно ожил, и более странной улыбки ей еще не приходилось видеть: в ней было и тайное веселье, и сердечный надлом, и бесконечная горечь. Он ответил вопросом:

– А кто такой Джон Голт?

Все началось с нескольких огоньков. Когда поезд линии «*Таггерт*» подъезжал к Филадельфии, в темноте появилась редкая россыпь ослепительных огней. Они казались бессмысленными на пустынной равнине, но были слишком яркими, чтобы не иметь значения. Пассажиры лениво, без особого интереса смотрели на них.

Затем появился черный силуэт строения, едва угадывавшийся на фоне неба, потом возле путей выросло высокое здание; в окнах его не было света, и отражения освещенных вагонов скользили по стеклам.

Встречный товарный поезд закрыл собой окна, залив вагон торопливой кляксой шума. В промежутках между вагонами пассажиры могли разглядеть силуэты далеких зданий, вырисовывавшихся на красноватом горизонте. Багровое зарево неровно пульсировало, словно бы дома дышали.

Когда поезд промчался, пассажиры увидели угловатые здания, окутанные кольцами пара. Лучи нескольких сильных прожекторов нарезали кольца дольками. Пар был пурпурным, как и небо.

Далее появилось нечто, похожее, скорее, не на здание, а на оболочку из стеклянных шахматных клеток, охватывавшую балки, краны и фермы единой ослепительной полосой огня.

Пассажиры не могли осознать всей сложности этого протянувшегося на мили города, работавшего, не обнаруживая признаков человеческого присутствия. Перед ними вырастали башни, похожие на скрученные небоскребы, повисшие в воздухе мосты, в стенах виднелись раны, извергавшие огонь. Потом сквозь ночь поползла вереница багровых цилиндров; это горел раскаленный металл.

Возле путей появилось конторское здание. Крупное неоновое панно на его крыше осветило внутренности пролетающих мимо вагонов. Оно гласило: *РИАРДЕН СТИЛ*.

Один из пассажиров, профессор экономики, обратился к своему спутнику: «Какое значение имеет отдельная личность в титанических коллективных достижениях нашего индустриального века?»

Другой, журналист, уже вносил в свой блокнот заметку для будущей статьи: «Хэнк Риарден принадлежит к той разновидности людей, которые лепят свое имя на все, к чему прикасаются. Уже из этой фразы читатель может составить представление о характере Хэнка Риардена».

Поезд все спешил во тьму, когда за длинным зданием рванулся к небу язык красного пламени. Пассажиры не обратили на вспышку никакого внимания; новую плавку, разлив раскаленного металла никак нельзя было отнести к числу событий, которые их учили замечать.

Это была первая плавка риарден-металла, первый заказ на него.

Прорыв жидкого металла на волю казался подобием наступившего вдруг утра для людей, стоявших у жерла печи. Хлынувший раскаленный добела поток металла светился чистым, солнечным огнем. Облака черного пара, подсвеченного багрянцем, клубились над печью. Неровными вспышками рассыпались фонтаны искр, казавшихся каплями крови, вытекающей из разорванной артерии. Воздух был растерзан в клочья, он обдавал ярым пламенем, красные пятна кружили и рвались вон из пространства, словно не желая оставаться внутри созданной

человеком конструкции, словно стремясь разрушить колонны, балки, мосты кранов над головой. Однако металл не обнаруживал никакой агрессивности. Длинная белая полоса напоминала атлас и празднично блестела. Она покорно текла из глиняного устья между двумя хрупкими берегами. А потом падала на двадцать футов вниз, в ковш, вмещавший две сотни тонн металла. Поток рассыпал звезды, выпрыгивавшие из его ровной глади и казавшиеся столь же ласковыми и невинными, как искры, брызжущие из детских бенгальских огней.

Только в самой близости становилось заметно, что белый атлас кипит. Время от времени из него вылетали брызги, падавшие на землю у желоба; жидкий металл, соприкасаясь с землей, остывал, вспыхивая огнем.

Две сотни тонн металла, более твердого, чем сталь, и ставшего жидким при температуре четыре тысячи градусов, могли разрушить любую стену здания, убить всех, кто работал возле потока. Однако каждый дюйм его пути, каждая молекула были покорны воле изобретателя.

Мечущийся под навесом красный свет выхватывал из темноты лицо человека, застывшего в дальнем углу. Прислонившись к колонне, он ждал. Яркая вспышка на мгновение бросила отблеск света в его глаза, цветом и видом напоминавшие голубой лед, потом на черное переплетение металла колонны и пепельные пряди его волос, потом на пояс спортивного плаща и карманы, в которых он держал руки. Высокий и стройный, он всегда превосходил ростом окружающих. Лицо его состояло из выступающих скул и нескольких резких морщин, оставленных, однако, не старостью. Так было всегда, и потому в молодости он казался старым, а сейчас, в сорок пять, молодым.

Насколько он помнил, ему всегда твердили, что лицо его уродливо – потому что было оно неподатливым и жестким. Оно ничего не выражало и теперь, когда он смотрел на льющийся металл. Это был Хэнк Риарден.

Металл поднимался к краю ковша и щедро переливался через край. Ослепительно-белые струйки быстро темнели, а еще через мгновение превращались в готовые отломиться черные металлические сосульки. Шлак застывал толстыми бурыми гребнями, похожими на земную кору. Корка толстела, в ней вскрывались редкие трещины, внутри все еще кипела расплавленная масса.

Высоко в воздухе проплыла кабина крана. Непринужденным движением руки крановщик двинул рычажок: подвешенные на цепи стальные крючья опустились вниз, подцепили ручки ковша, аккуратно, словно ведро с молоком, подняли две сотни тонн металла и понесли к ряду форм, ждавших, когда их наполнят.

Хэнк Риарден откинулся назад и закрыл глаза. Колонна за спиной его подрагивала в такт движениям крана. Работа окончена, подумал он.

Заметивший его рабочий одобрительно ухмыльнулся, как собрат и участник великого праздника, знавший, почему высокий белокурый человек должен был оказаться здесь в этот момент. Риарден улыбнулся в ответ и направился в свой кабинет, вновь превратившись в наделенного невыразительным лицом человека.

В тот вечер Хэнк Риарден поздно оставил свой кабинет. От завода до дома было несколько миль по безлюдной местности, однако ему хотелось пройтись – без особых на то причин.

Он шел, опустив руку в карман, не выпуская браслет в виде цепочки, сделанный из риарден-металла. Десять лет его жизни ушли на то, чтобы сделать этот браслет. Десять лет, подумал он, долгий срок. Вдоль темной дороги выстроились деревья. Всякий раз,

поглядев вверх, он замечал несколько листьев на фоне звездного неба; сухие и скрученные, они были готовы упасть на землю.

В окнах разбросанных по сельской местности домов светились огоньки, делавшие, как ни странно, дорогу еще более пустынной.

Риарден никогда не ощущал одиночества, кроме тех мгновений, когда бывал счастлив. Он оглядывался на багровое зарево, стоявшее над заводом. Он не думал о прошедших десяти годах. Сегодня от них осталось неясное послевкусие, которому он не мог дать имени или определения, но его чувства были умиротворенными и торжественными. Чувство это являло собой известную сумму, и ему не нужно было считать слагаемые, из которых она состояла. Это были ночи, проведенные возле пышущих жаром печей исследовательской лаборатории завода... ночи, проведенные в его домашнем кабинете над заполненными формулами листами бумаги, разлетающимися в клочья после очередной неудачи... дни, когда молодые ученые, составлявшие тот небольшой штаб, который он избрал себе в помощь, истощив собственную изобретательность, ожидали от него инструкций, как солдаты, готовые к безнадежной битве, еще способные сопротивляться, но уже притихшие, будто в воздухе висел произнесенный приговор: мистер Риарден, этого сделать нельзя... трапезы, прерванные и забытые после очередного озарения, после мысли, которую следовало немедленно проверить, испробовать, положить в основание растянувшихся на месяцы и месяцы работ, а потом отвергнуть после очередной неудачи... мгновения, отнятые от конференций, от контрактов, от обязанностей директора лучшего сталелитейного завода страны, оторванные едва ли не с виноватой улыбкой, как от тайной любви... и единственная мысль, растянувшаяся на десять лет, пронизывавшая все, что он делал, все, что он видел, мысль, возникавшая в его уме всякий раз, когда он смотрел на городские дома, на колею железной дороги, на свет в окнах далекого сельского дома, на нож в руках красавицы, разрезавшей фрукты на банкете, мысль о сплаве металлов, который будет способен на то, что выходит за пределы возможностей стали, металле, который станет для стали тем, чем стала она сама для железа... мгновения самобичевания, когда он отвергал надежду или образец, не позволяя себе ощутить усталость, не давая себе времени на это, заставляя себя испытывать мучительную неудовлетворенность... продвижение вперед, не имевшее другого мотора, кроме уверенности в том, что это *можно* сделать... и, наконец, день, когда это *было* сделано, и результат его трудов получил название риарден-металла... Все это сейчас в белом огне плавилось и смешивалось в его душе, и сплав этот превращался в странное и спокойное ощущение, которое заставляло его улыбаться на этой темной загородной дороге и удивляться тому, что счастье может ранить.

Потом он понял, что прошлое представляется ему в виде разложенных перед ним дней, требующих просмотра. Он не хотел этого делать; он презирал воспоминания, видя в них бесцельное потворство собственным желаниям. И все же, решил он, сегодня прошлое раскрылось перед ним в честь того металлического изделия, что сейчас находится в его кармане. И он позволил себе погрузиться в воспоминания.

Риарден увидел себя на гребне скалы, вспомнил струйку пота, стекавшую с его виска на шею. Ему было тогда четырнадцать лет, шел первый день его работы на железном руднике в Миннесоте. Он пытался научиться преодолевать жгучую боль в груди и стоял, ругая себя, потому что заранее решил заставить себя не устать. Потом он вернулся к работе, потому что боль, на его взгляд, не была достаточной причиной, чтобы прекращать дело. Он увидел еще один день, когда стоял возле окна своего кабинета и смотрел на тот же рудник, который

приобрел в тот самый день. Ему было тридцать лет. И неважно, чем занимался он в прошедшие годы, как ничего не значила и давняя боль. Продвигаясь к намеченной цели, он работал на рудниках, сталелитейных заводах, металлургических комбинатах севера страны. Об этих своих работах он помнил лишь то, что окружавшие его люди, похоже, никогда не знали, что делать, в то время как он всегда имел четкое представление обо всем. Он вспомнил, что всегда удивлялся тому, как много рудников вокруг закрывается, впрочем, собирались закрыть и приобретенный им рудник. Он посмотрел на высившиеся вдали скалы. Рабочие устанавливали над воротами в конце дороги новую вывеску: *Руда Риардена*.

Он увидел другой вечер и себя самого, сгорбившегося над столом в том самом кабинете.

Было поздно, и служащие уже отправились по домам, так что он имел полную возможность расслабиться без свидетелей. Он устал. Казалось, что он состязался с собственным телом, и все утомление предшествующих лет, в котором он отказывался признаться себе, разом обрушилось на него и придавило к креслу. Он не ощущал ничего, даже желания двигаться. Он не ощущал в себе сил ни на что – даже на страдание. Он выжег в себе все, что могло гореть; он, рассыпавший вокруг себя столько искр, затеявая новые дела, теперь гадал, найдется ли кто-нибудь, способный заронить в него самого ту искру, в которой он так отчаянно нуждался именно в этот момент, когда он не ощущал в себе возможности шевельнуться. Он спросил себя: кто привел его в движение и не позволил остановиться? И тогда он поднял голову. Неторопливо, величайшим в своей жизни усилием он заставил себя разогнуться, сесть прямо, опустив руку на стол, поддерживая тело другой дрожащей ладонью.

Больше он не задавал себе этого вопроса. Он увидел новый день, когда стоял на холме, разглядывая унылый пейзаж, мрачную пустошь, заставленную зданиями, прежде представлявшими собой сталелитейный завод. Предприятие разорилось и было закрыто. Он купил его предыдущим вечером. Задувал сильный ветер, серый свет просачивался сквозь облака. И в этой серости красно-бурые пятна ржавчины на стали огромных кранов казались подобием запекшейся крови, а ярко-зеленые травы пиршеством каннибалов тянулись над грудями битого стекла к пустым глазницам окон. У далеких ворот маячили черные силуэты людей. Это были безработные, обитавшие в гнилых лачугах, в которые превратился некогда процветавший городок.

Они стояли, безмолвно разглядывая сверкающую машину, которую он оставил у заводской проходной; они гадали, точно ли тот человек на холме является Хэнком Риарденом, о котором столько говорили вокруг, и верно ли, что завод будет снова открыт. «Исторический цикл производства стали в Пенсильвании катится под уклон, – настаивала газета, – и эксперты утверждают, что обращение Генри Риардена к производству стали не имеет перспектив. Скоро вы станете свидетелями сенсационного финала сенсационной деятельности Генри Риардена». Это было десять лет назад. И сегодняшний ветер, холодивший его лицо, ничем не отличался от ветра того дня. Он обернулся. Над заводом полыхало багровое зарево, такой же знак жизни, как восход солнца. На пути его были остановки, станции, которые миновал его экспресс. Он не мог сказать ничего определенного о тех годах, что разделяли их; годы слились воедино, в сплошное пятно.

Как бы то ни было, подумал он, все эти муки и напряжение оправдали себя, потому что позволили ему дожить до сего дня – дня первой промышленной плавки риарден-металла, первого заказа на этот сплав, которому суждено было стать рельсами для «*Таггерт Трансконтинентал*».

Он прикоснулся к лежащему в кармане браслету, сделанному из первой партии металла. Браслет предназначался его жене. Коснувшись вещицы, он понял, что думает о некоей абстракции, именуемой женой, а не о женщине, на которой был женат.

Он почувствовал легкое недовольство тем, что распорядился сделать этот браслет, а затем укорил себя за подобное сожаление. Он покачал головой. Не время для старых сомнений. Он чувствовал, что способен простить все, что угодно и кому угодно, потому что счастье – источник благородства. Он не сомневался в том, что в эту ночь все вокруг желают ему добра. Ему хотелось встретить сейчас кого-нибудь, обратиться к первому незнакомцу, стать перед ним открытым и безоружным и сказать: «Посмотри на меня».

Люди, думал Риарден, в той же мере, как и я, изголодались по радости – по мгновению освобождения от серого гнета страдания, необъяснимого и напрасного. Он никогда не мог понять, почему люди должны быть несчастными.

Темная дорога незаметно поднялась на вершину холма. Он остановился и оглянулся. Красное зарево на западе превратилось в еле заметную узкую полоску. Над ней мелкими на таком расстоянии буквами на черном небе читался неоновый знак: *РИАРДЕН СТИЛ*. Он распрямился, как перед судом. Он вспомнил другие знаки, горевшие когда-то в ночи: *Риарден-Руда*, *Риарден-Уголь*, *Риарден-Известняк*. Он подумал о прожитых днях и о том, что неплохо бы зажечь над ними всеми неоновое табло со словами: *Риарден-Жизнь*.

Резко повернувшись, он направился вперед. По мере того как дорога приближалась к дому, он отметил, что шаги его как бы сами собой замедляются, что настроение делается менее приподнятым. Он ощущал смутное нежелание возвращаться домой, но не хотел испытывать это чувство. Нет, подумал он, нет, не сегодня; в такой день они поймут. Однако он не знал, даже не задумывался над тем, что, собственно, должны они понять.

Приблизившись к дому, он заметил освещенные окна в гостиной. Дом стоял на пригорке, поднимавшемся перед Риарденом белой тушей; он казался голым, его в некоторой степени украшали лишь несколько колонн в псевдоколониальном стиле; и было видно, что наготу эту являть не стоило.

Риарден не был уверен в том, что жена заметила его появление в гостиной. Она сидела возле камина, сопровождая изящным движением руки плавное течение слов. Голос ее на мгновение стих, и Риарден подумал, что жена заметила его, однако, поскольку она не подняла глаз и речь потекла своим чередом, в этом оставались сомнения.

– ...дело в том, что культурному человеку скучны сомнительные чудеса чисто материальной изобретательности, – говорила она. – Он просто отказывается восхищаться водопроводными трубами.

Потом она повернула голову, посмотрела на Риардена, стоявшего на противоположной стороне длинной комнаты, и руки ее взмыли к потолку двумя лебедиными шеями.

– Дорогой мой, – бодрым тоном осведомилась она, – не рано ли ты явился домой? Неужели не нашлось слитка, который надо очистить, или формы, которую следует отполировать?

Все повернулись к Риардену: его мать, его брат Филипп и Пол Ларкин, старинный друг.

– Простите, – проговорил он. – Я понимаю, что опоздал.

– Нечего извиняться, – сказала его мать. – Мог бы и позвонить.

Он поглядел на нее, пытаясь что-то припомнить.

– Ты обещал быть сегодня дома к обеду.

– Ах да, действительно обещал. Но сегодня на заводе была плавка... – он смолк,

не понимая, что мешает ему произнести ту единственную вещь, ради которой шел домой, и только добавил: – просто я... забыл.

– Именно это и хочет сказать мама, – проговорил Филипп.

– Ах, пусть он придет в себя, он еще не очнулся, он по-прежнему на своем заводе, – веселым голосом произнесла жена.

– Снимай пальто, Генри.

Пол Ларкин смотрел на него преданными глазами больной собаки.

– Привет, Пол, – сказал Риарден, – когда ты приехал?

– О, я подскочил на нью-йоркском, пять тридцать пять, – благодарный за внимание, Ларкин расплылся в улыбке.

– У тебя неприятности?

– А у кого их нет в наши дни? – улыбка Ларкина сделалась отстраненной, это должно было подчеркнуть, что реплика его имела исключительно философские основания. – Нет, на сей раз никаких особенных неприятностей. Я просто подумал, что неплохо бы заскочить и повидаться с вами.

Жена Риардена рассмеялась.

– Ты разочаровал его, Пол, – она повернулась к Риардену. – Что это, комплекс неполноценности или мания величия, Генри? Неужели ты думаешь, что никто не способен повидаться с тобой ради самого процесса, или же ты полагаешь, что без твоей помощи совершенно невозможно обойтись?

Риарден хотел ответить сердитым отрицанием, однако жена улыбалась ему так, словно бы только что произвела шуточный выпад; он не хотел вступать в подобного рода двусмысленные разговоры, а потому промолчал. Застыв на месте, он разглядывал жену, пытаясь, наконец, понять то, чего до сих пор так и не удосужился сделать.

Все считали Лилиан Риарден красавицей. Она была высокой и грациозной и выглядела особенно привлекательно в платьях с высокой талией, в стиле ампир, которые она привыкла носить. Ее благородный профиль будто сошел с камеи той же поры: чистые, гордые линии и блестящие светло-каштановые волны волос, причесанные с классической простотой, говорили о строгой царственной красоте. Однако когда она поворачивалась анфас, люди испытывали легкое разочарование.

Лицо ее нельзя было назвать прекрасным. Дефект крылся в глазах – блеклых, не серых и не карих, безжизненных и невыразительных. Риарден часто удивлялся тому, что при всей привычной внешней оживленности, радости в ее зоре не бывало никогда.

– Мы с тобой уже знакомы, дорогой, – ответила она на его испытующий взгляд, – хотя ты, кажется, в этом не уверен.

– Генри, ты хотя бы обедал? – спросила его мать укоризненным и полным нетерпения тоном, словно его голод являлся для нее личным оскорблением.

– Да... нет... я не был голоден.

– Тогда я позвоню, чтобы...

– Не надо, мама, потом, это неважно.

– Вечно с тобой одни неприятности. – Она не смотрела на него и говорила, обращаясь в пространство: – Незачем даже пытаться что-нибудь сделать для тебя, ты этого не оценишь. Я так и не сумела научить тебя правильно питаться.

– Генри, ты слишком много работаешь, – объявил Филипп. – Это вредно для здоровья.

Риарден рассмеялся:

– А мне нравится.

– Ты просто утешаешь себя этими словами. Видишь ли, на самом деле это нечто вроде невроза. Если человек с головой уходит в работу, значит, он пытается бежать от чего-то. Тебе надо завести хобби.

– Перестань, Фил, ради Христа, не надо! – бросил Риарден и тут же пожалел о прозвучавшем в его голосе раздражении.

Филипп не мог похвастаться крепким здоровьем, хотя врачи не обнаруживали особых дефектов в его долговязом, хилом теле. Ему было тридцать восемь лет, однако хроническая усталость по временам заставляла людей подозревать, что он старше своего брата.

– Тебе нужно научиться как-нибудь развлекаться, – продолжил Филипп, – иначе ты станешь скучным и неинтересным. Точнее, узколобым. Пора выбраться из личной скорлупки и посмотреть на мир. Если ты не изменишь образ жизни, настоящая жизнь пройдет мимо тебя.

Сопrotивляясь гневу, Риарден напомнил себе, что такова манера его брата заботиться о нем. Несправедливо чувствовать обиду на близких: они пытаются проявить беспокойство – жаль только, что довольно неприятным образом.

– Я сегодня провел время достаточно интересно, Фил, – улыбнулся Риарден, заметив, однако, с некоторой досадой, что Филипп даже спрашивать не стал, как именно.

Ему хотелось, чтобы кто-то из них задал ему этот вопрос. Ему трудно было облечь свои ощущения в слова. Поток текущего металла еще горел в его памяти, наполнял собой все сознание, не оставлял места ни для чего другого.

– Ты вполне мог бы и извиниться, только я извинений от тебя уже и не жду. – Голос принадлежал его матери.

Риарден повернулся: она смотрела на него беззащитным взором, свидетельствующим об оскорбленном терпении бесправного существа.

– К нам на обед приезжала миссис Бичэм, – сказала она с укоризной.

– Кто?

– Миссис Бичэм. Моя подруга, миссис Бичэм.

– И что же?

– Я рассказывала тебе о ней, рассказывала много раз, только ты не запоминаешь ничего из того, что я тебе говорю. Миссис Бичэм хотела повидаться с тобой, но ей пришлось уехать сразу после обеда, она не могла ждать. Миссис Бичэм – очень занятая особа. Она хотела столько рассказать тебе о той великолепной работе, которой мы заняты в нашей приходской школе, и о занятиях по слесарному делу, и о том, какие изумительные дверные ручки самостоятельно делают трущобные мальчишки.

Ему пришлось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы заставить себя ответить ровным тоном:

– Прости, если я разочаровал тебя, мама.

– Тебя это нисколько не расстраивает. Если бы ты захотел, то мог бы вовремя оказаться дома. Но разве ты когда-нибудь старался для кого-нибудь, кроме самого себя? Тебя не интересуем ни мы сами, ни все, что мы делаем. Ты полагаешь, что раз оплачиваешь наши счета, то этого уже довольно, не правда ли? Деньги! Это все, что тебя интересует. И ты даешь нам только деньги. А время свое ты когда-нибудь уделял нам?

«Если слова эти свидетельствуют о том, что ей не хватает общения со мной, это говорит о привязанности ко мне, – подумал он, – а если так, то я не вправе позволять себе

противиться тяжелому и смутному чувству, заставлявшему меня молчать, чтобы голосом не выдать то, что обычно называют досадой».

– Тебе все равно, – в ее голосе презрение смешивалось с просьбой. – Лилиан хотела обсудить с тобой очень важную проблему, но я сказала ей, что бесполезно рассчитывать на разговор с тобой.

– Ах, мама, это не важно! – сказала Лилиан. – Во всяком случае, для Генри.

Риарден повернулся к жене. Он все еще стоял посреди комнаты, так и не сняв пальто, словно запутавшись в мире нереальном, никак не желавшем становиться реальностью.

– Это совсем не важно, – повторила Лилиан бодрым тоном; он не понимал, чего больше в ее голосе – извинения или хвастовства. – Речь идет не о бизнесе. Мое дело не представляет собой никакого коммерческого интереса.

– Что ты имеешь в виду?

– Прием, который я намереваюсь устроить.

– Прием?

– Не пугайся, он состоится не завтра вечером. Понимаю, ты очень занят, но я хочу созвать гостей через три месяца по очень важному и совершенно особенному поводу, поэтому обещай мне, что в назначенный вечер окажешься дома, а не где-нибудь в Миннесоте, Колорадо или Калифорнии!

Жена смотрела на него как-то по-особенному. Она говорила одновременно и слишком непринужденно, и излишне целеустремленно, невинность ее улыбки явно сочеталась с припрятанным в рукаве козырем.

– Ровно через три месяца? – переспросил он. – Но ты же знаешь, что какое-нибудь срочное дело всегда может увести меня из города.

– Ну, конечно, знаю! Но разве я не могу заранее договориться с тобой о встрече, как железнодорожный чин, хозяин автозавода или старьевщик... то есть сборщик металлолома? Они утверждают, что ты никогда не пропускаешь деловые встречи. Конечно, я могу предложить тебе выбрать самую удобную для тебя дату. – Она посмотрела на него снизу вверх исподлобья с ноткой кокетства и спросила, пожалуй, слишком непринужденно и чересчур осторожно: – Я имею в виду десятое декабря, но, быть может, ты предпочтешь девятое или одиннадцатое?

– Мне все равно.

Она аккуратно напомнила:

– Десятое декабря – годовщина нашей свадьбы, Генри.

Все теперь вглядывались в его лицо. Но если они рассчитывали заметить на нем признаки вины, то увидели лишь слабую недоуменную улыбку. Лилиан не заманит его в ловушку, подумал он, поскольку из нее так легко ускользнуть, отказавшись признавать какую-либо вину в своей забывчивости и не согласившись на вечеринку; она понимала, что единственным ее оружием является его чувство к ней. Она хотела, решил он, косвенным образом и не теряя самолюбия, испытать его чувства и признаться в собственных. Прием он не считал праздником, но Лилиан относилась к таким событиям иначе. С его точки зрения, подобное мероприятие ничего не значило; в ее глазах оно было высшим даром, который она могла принести и ему, и их браку. Следовало уважать желания жены, пусть даже образ ее мыслей и не отвечает его нормам, пусть даже он не уверен, нужны ли ему от нее какие-либо знаки внимания, она вправе получить то, что хочет. И Риарден улыбнулся, широко и открыто, признавая ее победу.

– Хорошо, Лилиан, – проговорил он негромко, – обещаю быть дома вечером десятого декабря.

– Спасибо тебе, дорогой. – В замкнутой улыбке ее таилось нечто загадочное, и Риарден удивился тому, что на мгновение ему показалось, будто ответ его разочаровал всех присутствующих.

«Если она доверяет мне, – думал он, – значит, ее чувство ко мне еще не умерло, и, следовательно, я не вправе обмануть эту веру». Он должен был произнести эти слова, ибо они, как линза, позволяли сфокусировать мысли, а других слов на сегодня у него просто не было.

– Прости меня за сегодняшнее опоздание, Лилиан, просто сегодня у нас на заводе была первая плавка риарден-металла.

После общей паузы Филипп произнес:

– Вот здорово.

Остальные промолчали.

Риарден опустил руку в карман. И когда он вновь прикоснулся к браслету, знакомое ощущение мгновенно вытеснило из его головы все на свете; он вновь почувствовал то самое, что и там, перед струей расплавленного металла.

– Я принес тебе подарок.

Роняя металлическую цепочку на колени Лилиан, он не знал, что держится нарочито прямо и что движение его руки повторяет жест крестоносца, вернувшегося с трофеями к любимой.

Лилиан Риарден подобрала вещицу, растянула ее между двумя пальцами и поднесла к свету. Тяжелые, грубой работы звенья отливали странным иссиня-зеленым блеском.

– Что это? – спросила она.

– Первая вещь, сделанная из риарден-металла первой плавки.

– Ты хочешь сказать, – проговорила она, – что цена ей такая же, как и куску железнодорожного рельса?

Риарден недоуменно посмотрел на нее.

Лилиан позвенела браслетом, блеснувшим на свету.

– А знаешь, Генри, чудесная мысль! Чудесная и оригинальная! Я стану сенсацией в Нью-Йорке, когда начну носить украшения, сделанные из того же материала, что балки мостов, моторы автомобилей, кухонные печи, пишущие машинки, и – как это ты сам говорил вчера, дорогой, – суповые кастрюльки?

– Боже, Генри, да ты просто зазнайка! – проговорил Филипп.

Лилиан рассмеялась:

– Он сентиментален. Как и всякий мужчина. Но, дорогой, я ценю твой подарок. Не сам дар, но намерение.

– Если ты спросишь меня, то я скажу, что намерение было самое эгоистичное, – сказала мать Риардена. – Другой мужчина, собравшись сделать жене подарок, принес бы браслет с бриллиантами, который доставил бы удовольствие и ей, а не только ему самому. Однако Генри считает, что, раз уж он сделал новую разновидность жести, все вокруг должны ценить ее выше алмазов, просто потому что это *он* сделал ее. Таким он был с пяти лет – более самонадеянного ребенка я не встречала и, конечно, могла только предполагать, что из него вырастет самый эгоистичный мужчина на свете.

– Нет, это очень мило, – проговорила Лилиан, – просто очаровательно.

Она уронила браслет на стол, встала, опустила ладони на плечи Риардена и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его в щеку:

– Спасибо, дорогой.

Он не шевельнулся, не стал наклонять голову навстречу ласке. Чуть помедлив, он снял пальто и сел возле огня, в стороне от остальных. Риарден не ощущал ничего, кроме колоссальной усталости.

Он не прислушивался к их разговору, догадываясь, что там, вдалеке, Лилиан спорит с его матерью, защищая мужа.

– Я его лучше знаю, – возражала мать, – ни человек, ни зверь, ни растение не интересуют Хэнка Риардена, если только они каким-то образом не связаны с ним самим и его работой. Он способен думать только о ней. Я изо всех сил пыталась научить его некоторому смирению, пыталась всю свою жизнь, но мне не удалось этого сделать.

Риарден предлагал матери неограниченные средства, позволявшие жить где угодно и как заблагорассудится, и не понимал причин, по которым она настояла на совместном проживании с ним. Риарден предполагал, что его успех имел для нее какое-то значение и таким образом как-то связывал их, другой связи он не признавал; и если его мать захотела жить в доме преуспевающего сына, он не желал отказывать ей в этом праве.

– Мама, незачем делать из Генри святого, – проговорил Филипп. – Он не предназначен для этой роли.

– Ах, Филипп, ты ошибаешься! – отозвалась Лилиан. – Ты невероятно ошибаешься! У Генри есть все задатки святого. В этом-то и беда.

«Чего им нужно от меня? – думал Риарден. – Чего они добиваются?» Он никогда и ничего не просил ни у кого из них; это они стремились владеть им, это они предъявляли ему постоянные претензии, причем претензии эти имели облик привязанности, которую, впрочем, ему было труднее переносить, чем любую разновидность ненависти. Риарден презирал беспричинное сочувствие в такой же мере, в какой презирал незаслуженное богатство. По какой-то неведомой причине эти люди взялись любить его, не желая при этом знать, за что ему хотелось быть любимым. Интересно было бы знать, какого рода реакции с его стороны намеревались они добиться подобным путем, если, конечно, им вообще нужна была его реакция.

«А ведь она нужна им, – подумал Риарден, – даже любопытна; зачем иначе эти постоянные жалобы, непрекращающиеся обвинения в безразличии? Откуда эта хроническая подозрительность, словно им *хочется* почувствовать себя задетыми?» У него никогда не было желания сделать кому-нибудь из них больно, однако он всегда ощущал в них эту боязливую укоризну; их, похоже, ранило каждое его слово, и дело было не в его словах или действиях; получалось... да, получалось так, что их ранил уже сам факт его существования. «Не надо придумывать всякую чушь», – резко осадил он себя, пытаясь применить к решению этой загадки самые строгие критерии своего беспощадного чувства справедливости. Не поняв своих родственников, он не имел права судить их; а понять их он не мог.

Нравятся ли они ему? Нет, подумал Риарден; их надо *полюбить*, что не совсем одно и то же. Риарден хотел этого во имя некоего несформулированного потенциала, который когда-то пытался обнаружить в каждом человеческом существе. Теперь он ничего не ощущал по отношению к этим людям, ничего, кроме безжалостного нуля, безразличия... он даже не сожалел о потере. Нуждался ли он в том, чтобы какой-нибудь человек вошел

как неотъемлемая часть в его собственную жизнь? Ощущал ли нехватку желанного чувства? Нет, подумал он. Тосковал ли по нему? Да, решил он, в годы юности; но не теперь.

Утомление нарастало. Риарден понял, что причиной его была скука.

Однако ее следовало скрывать, он обязан проявлять любезность по отношению к этим людям, подумал сидевший в неудобной позе Риарден, преодолевая желание уснуть, уже превращавшееся в физическую боль.

Глаза его уже закрывались, когда он ощутил на своей руке прикосновение двух мягких липких пальцев. Пол Ларкин придвинул к нему свое кресло и уже склонялся для частного разговора:

– Хэнк, мне безразлично, что говорят на эту тему в отрасли, но риарден-металл – великая вещь, великая, и она принесет тебе состояние, как и все, к чему ты прикасаешься.

– Да, – согласился Риарден, – принесет.

– Просто... просто я надеюсь, что ты не попадешь с ним в беду.

– Какую беду?

– Ах, ну не знаю... просто сейчас... есть люди, которые... как бы это сказать... все может случиться...

– Что может случиться?

Ларкин сидел, сгорбившись, молящие, ласковые глаза смотрели снизу вверх. Его короткое полное тело всегда казалось беззащитным и незавершенным, он словно бы нуждался в раковине, в которую можно было нырнуть при первом прикосновении неизвестной опасности. Тоскливые глаза, потерянная, беспомощная, просительная улыбка служили заменой этой раковине. Улыбка обезоруживала, она годилась разве что мальчишке, отдающемуся на милость непостижимой вселенной. Ларкину было пятьдесят три года.

– У тебя нет хорошей рекламы, Хэнк, – сказал он, – пресса всегда не жаловала тебя.

– Ну и что?

– Ты не популярен, Хэнк.

– Ни разу не слышал, чтобы мои заказчики были чем-то недовольны.

– Я не о том. Тебе нужно нанять хорошего пиарщика, чтобы он продавал тебя публике.

– Зачем? Я торгую сталью.

– Но ты же не хочешь, чтобы публика была настроена против тебя. Общественное мнение, знаешь ли, вещь ценная.

– Не думаю, чтобы общество было настроено против меня. И еще я считаю, что любят меня или нет, не имеет никакого значения.

– Газеты настроены против тебя.

– У них есть свободное время. У меня его нет.

– Мне это не нравится, Хэнк. Это нехорошо.

– Что?

– То, что они пишут о тебе.

– И что же они пишут обо мне?

– Ну ты сам это знаешь. Что ты упрям. Что ты безжалостен. Что ты никому не позволяешь разделить с тобой участие в управлении своими заводами. Что единственная твоя цель – делать сталь и вместе с ней деньги.

– Но это и есть моя единственная цель.

– Ты не должен этого говорить.

– Почему же? И что должен я говорить?

– Ну не знаю... но твои заводы...

– Они ведь мои, не правда ли?

– Да, но... но ты не должен слишком громко напоминать об этом людям... Ты знаешь, как сейчас с этим... Они считают твою позицию антиобщественной.

– Их мнение мне абсолютно безразлично.

Пол Ларкин вздохнул.

– В чем дело, Пол? На что ты намекаешь?

– Ни на что... ни на что, в частности. Только в наше время никто не может сказать заранее, что может случиться... Приходится быть осторожным...

Риарден усмехнулся:

– Не пытаешься ли ты *позаботиться* обо мне, а?

– Просто я твой друг, Хэнк. Я тебе друг. И ты знаешь, как я восхищаюсь тобой.

Пол Ларкин всегда был неудачником. Все, что он начинал, складывалось посредственным образом, не приводя ни к полному провалу, ни к успешному завершению. Он был бизнесменом, однако никак не мог надолго закрепиться в какой-нибудь отрасли. В настоящее время он пытался удержаться на плаву вместе со скромным заводом, производившим оборудование для рудников.

Пребывая в трепетном восхищении перед Риарденом, человек этот лип к нему многие годы. Он приходил за советом, иногда – не часто – просил займы; суммы были умеренными, и он всегда возвращал их, хотя и не всегда в срок. Похоже, что на подобную дружбу его подвигала присущая анемичной персоне потребность впитывать жизненные силы из непосредственного контакта с человеком, ими переполненного.

Наблюдая за деятельностью Ларкина, Риарден невольно вспоминал муравья, изнемогающего под тяжестью хвоинки. То, что трудно ему, не требует от меня никакого усилия, думал Риарден, наделяя друга советом, а также – при возможности – тактичным и терпеливым вниманием.

– Я твой друг, Хэнк.

Риарден вопросительно посмотрел на гостя.

Ларкин отвернулся, как бы что-то обдумывая, и после некоторой паузы осторожно спросил:

– А как дела у твоего человека в Вашингтоне?

– Нормально, надеюсь.

– В этом следует быть уверенным. Это важно. – Он посмотрел на Риардена и повторил с подчеркнутой настойчивостью, как бы исполняя трудный моральный долг: – Хэнк, это очень важно.

– Полагаю, что так.

– На самом деле, я приехал сюда, чтобы сказать тебе именно это.

– По какой-то конкретной причине?

Подумав, Ларкин решил, что выполнил свой долг:

– Нет.

Тема эта была неприятна Риардену. Он понимал, что следует иметь человека, который будет защищать его интересы в законодательных органах; все предприниматели располагали подобными людьми. Однако сам он никогда не уделял особого внимания этой стороне своего дела и никогда не мог убедить себя в том, что она действительно необходима.

Всякий раз, когда он пытался задуматься над тем, что некто за деньги должен

лоббировать интересы компании в верхах, его останавливало некое отвращение, состоявшее из смеси скуки и брезгливости.

— К сожалению, Пол, — принялся он рассуждать вслух, — к этому делу приходится привлекать совершенно никчемных людей.

Отвернувшись в сторону, Ларкин произнес:

— Такова жизнь.

— И черт меня побери, если я понимаю причину. Ты способен назвать ее мне? *Что* в мире идет не так?

Ларкин скорбно пожал плечами:

— Зачем задавать бесполезные вопросы? Насколько глубок океан? Как высоко небо? И кто такой Джон Голт?

Риарден распрямился в кресле.

— Нет, — произнес он отрывисто. — Нет. Нельзя позволять себе подобные настроения.

Риарден встал. Утомление оставило его, едва речь зашла о деле. Он ощутил бунтарский порыв, потребность вернуть и заново утвердить свой собственный взгляд на бытие, смысл которого он так остро ощущал сегодня по дороге домой и которому ныне угрожало что-то безымянное.

Чувствуя возвращение энергии, Риарден зашагал по комнате. Он посмотрел на своих родных: бестолковые и несчастные дети, все, в том числе и его матушка; глупо обижаться на их недомыслие; оно является следствием беспомощности, а не злого умысла. И именно ему следует научиться понимать их — он может передать им свою радостную и беспредельную силу, которую они не в состоянии ощутить.

Он посмотрел на противоположную сторону комнаты. Его мать увлеченно разговаривала о чем-то с Филиппом; однако он отметил, что увлеченность эту нельзя было назвать подлинной, оба они были взволнованы. Филипп сидел в низком кресле — живот выступил вперед, спина сгорблена, — словно бы наказывая всех окружающих жалким неудобством своей позы.

— Что с тобой случилось, Фил? — спросил Риарден, подходя к брату. — Выглядишь усталым.

— Тяжелый выдался день, — ответил Филипп угрюмо.

— Не один ты на свете работаешь, — вступила в разговор мать. — У других тоже есть свои проблемы, пусть и не такие, как у тебя: транс-, суперконтинентальные и на миллион долларов.

— Ну это хорошо. Я всегда полагал, что Фил должен найти себе интересное дело.

— Хорошо? Ты хочешь сказать, что тебе приятно видеть твоего брата надрывающимся на работе до потери пульса? Тебе это приятно, не так ли? Я всегда так считала.

— Ну что ты, мама. Я рад помочь.

— Тебе не придется помогать. Ты не обязан сочувствовать кому-нибудь из нас.

Риарден не знал, чем занимается или хочет заниматься его брат. Он посылал Филиппа в колледж, однако тот так и не сумел остановиться на какой-либо конкретной сфере деятельности. С точки зрения Риардена, если мужчина не стремится к прибыльной работе, то с ним что-то не так, однако он не чувствовал себя вправе внушать свои принципы Филиппу; он мог содержать своего брата, не замечая расходов. Пусть себе живет, считал Риарден, пусть получит шанс начать собственную карьеру, не борясь за существование.

— И чем же ты сегодня занимался, Фил? — спросил Риарден терпеливо.

– Это не заинтересует тебя.

– Я хочу знать и поэтому спрашиваю.

– Мне пришлось встретиться с двадцатью людьми по всему городу, от Реддинга до Уилмингтона.

– И зачем они тебе понадобились?

– Я пытаюсь собрать деньги для *«Друзей Глобального Прогресса»*.

Риарден никогда не мог упомянуть те многочисленные организации, с которыми связывался Филипп, или получить ясное представление об их деятельности. В последние несколько месяцев Филипп время от времени упоминал о неких *«Друзьях Прогресса»*. Братство это как будто бы занималось бесплатными лекциями по психологии, народной музыке и сельскохозяйственной кооперации. Риарден питал пренебрежение к подобного рода группам и не видел причин для более внимательного изучения их природы.

Он молчал. И Филипп добавил без приглашения с его стороны:

– Нам нужно собрать десять тысяч долларов для осуществления жизненно важной программы. Собирать деньги – это муки мученические. В людях не осталось даже искорки общественного самосознания. И когда я вспоминаю тех раздувшихся денежных мешков, которых видел сегодня... на прихоти свои они тратят куда больше, однако я не сумел выжать ни из кого и сотни баксов, хотя больше не просил. У них не осталось чувства морали и долга... Чему ты смеешься?

Риарден стоял перед ним, ухмыляясь.

«Детская наивность, – подумал Риарден, – беспомощная и грубая работа: сразу и оскорбление, и намек. Филиппа нетрудно было бы раздавить, ответив на оскорбление оскорблением, которое будет смертоносным уже потому, что оно справедливо, – но произнести его невозможно. Бедный дуралей, конечно, понимает, что отдался на мою милость, понимает, что может получить суровый отпор, поэтому мне незачем оскорблять его, но, поступив иначе, я дам лучший ответ, который он не сумеет не оценить. В какой же нищете живет на самом деле Филипп, что она настолько исковеркала его?»

И тогда Риарден вдруг подумал, что может разом разрушить хроническое неудовольствие Филиппа, одарить его неожиданной радостью, исполнением безнадежного желания. Он думал: «Какая мне разница, чего именно он хочет? Желание принадлежит ему, как риарден-металл мне... и оно должно означать для него то же, что мой металл для меня... пусть хоть раз побудет счастливым, это чему – нибудь да научит его... разве не я говорил, что счастье делает благородным?.. Сегодня у меня праздник, пусть получит в нем свою долю – такую весомую для него и такую малую для меня».

– Филипп, – проговорил он с улыбкой, – завтра утром зайди ко мне в кабинет, к мисс Айвс. Она передаст тебе чек на десять тысяч долларов.

Филипп смотрел на него ничего не выражающими глазами, в которых не было ни потрясения, ни удовольствия, только одна остекленевшая пустота.

– О, – проговорил Филипп, а потом добавил: – Мы весьма ценим твой жест.

В голосе его не было никакого чувства, даже простейшей жадности.

Риарден не мог разобраться в собственных переживаниях: внутри него словно бы обрушивалась какая-то свинцовая пустота, он ощущал и этот вес, и этот вакуум. Он понимал, что испытывает разочарование, однако не знал, почему оно сделалось настолько серым и уродливым.

– Очень мило с твоей стороны, Генри, – сухо поблагодарил Филипп. – Я удивлен. Вот уж

не ожидал от тебя.

– Разве ты ничего не понял, Фил? – произнесла Лилиан особенно чистым и певучим голосом. – Сегодня у Генри прошла плавка его металла.

Она повернулась к Риардену:

– Объявим этот день национальным праздником, дорогой?

– Ты – хороший человек, Генри, – проговорила его мать и добавила: – однако бываешь им не слишком часто.

Риарден стоял и смотрел на Филиппа, словно бы выжидая.

Филипп посмотрел в сторону, а потом взглянул Риардену прямо в глаза, отвечая на вызов.

– Тебе действительно интересно помогать неимущим? – спросил Филипп, и Риарден, не веря своим ушам, услышал в его голосе укоризну.

– Нет, Фил, они мне совершенно безразличны. Я просто хотел порадовать тебя.

– Но деньги предназначаются не мне. Я собираю их не по личным мотивам. В этом деле я не преследую ничего корыстного. – В холодном голосе его пела нотка горделивой добродетели.

Риарден отвернулся. Он ощутил внезапное отвращение: не потому что слова брата были полны ханжества, но потому, что тот говорил правду и сказал именно то, что думал.

– Кстати, Генри, – добавил Филипп, – можно я попрошу, чтобы мисс Айвз выдала мне эту сумму наличными?

Озадаченный Риарден повернулся к нему.

– Видишь ли, *«Друзья Глобального Прогресса»* – группа весьма прогрессивная, и они всегда видели в тебе самого черного ретрограда во всей стране; их смутит твое имя в наших подписных листах, потому что тогда нас могут обвинить, что мы находимся на содержании Хэнка Риардена.

Ему захотелось дать Филиппу пощечину. Однако почти непереносимое презрение заставило вместо этого зажмурить глаза.

– Хорошо, – сказал он негромко, – ты получишь деньги наличными.

Отойдя в дальний угол комнаты, к окну, он застыл возле него, вглядываясь в далекое зарево над заводом.

Ларкин простонал, обращаясь к нему:

– Черт побери, Хэнк, зачем ты даешь ему эти деньги?

Холодный и веселый голос Лилиан пропел возле него:

– Ты ошибаешься, Пол, как же ты ошибаешься! Что бы случилось с тщеславием Генри, если бы нас не было рядом, если бы вдруг оказалось, что некому швырнуть подаяние? Что стало бы с его силой, если бы рядом не оказалось слабых, над которыми можно властвовать? И что произойдет с ним самим, если не окажется рядом нас, зависящих от него? Это вполне справедливо, я не осуждаю его, такова человеческая природа.

Подобрав браслет, она подняла его – металл блеснул в свете люстры.

– Цепь, – проговорила она. – Как точно, не правда ли? Это и есть та самая цепь, которой он привязывает всех нас к себе.

Потолок здесь был, как в погребке, такой тяжелый и низкий, что, пересекая комнату, люди пригибались, словно перекрытия лежали на их плечах. В каменных стенах, будто бы изъеденных веками и сыростью, были выдолблены округлые кабинки, обтянутые красной кожей. Окон не было, и из прорех в кладке сочился мертвенный синий свет, каким пользуются при затемнении. Сюда входили по сбегаящим вниз узким ступенькам, словно бы спускаясь под землю. Так выглядел самый дорогой бар Нью-Йорка, устроенный на крыше небоскреба.

За столиком сидело четверо мужчин. Вознесенные на шестьдесят этажей над городом, они говорили, но не громовыми голосами, которым подобает вещать из поднебесья; голоса их оставались приглушенными, как в каком-нибудь настоящем погребке.

– Условия и обстоятельства, Джим, – произнес Оррен Бойль, – условия и обстоятельства находятся вне всякого контроля со стороны человека. Мы сделали все, чтобы поставить эти рельсы, однако помешали непредвиденные обстоятельства, которых никто не мог ожидать. Если бы только, Джим, ты предоставил нам такую возможность...

– На мой взгляд, истинной причиной всех социальных проблем, – неторопливо проговорил Джеймс Таггерт, – является отсутствие единства. Моя сестрица пользуется известным авторитетом среди части наших акционеров. И мне не всегда удается противостоять их подрывной тактике.

– Ты правильно сказал, Джим. Именно в отсутствии единства заключается наша беда. Я абсолютно уверен, что в современном сложном промышленном обществе ни одно деловое предприятие не способно преуспеть, не приняв на себя часть проблем других производств.

Таггерт отхлебнул из бокала и отставил его:

– Им надо уволить бармена.

– Возьмем, для примера, *«Ассошиэйтед Стил»*. Мы располагаем самым современным оборудованием в стране и лучшей организацией производства. С моей точки зрения, факт этот следует назвать неоспоримым, поскольку именно мы в прошлом году получили премию журнала *«Глоб»* за промышленную эффективность. И поэтому мы считаем, что сделали все возможное, и никто не вправе критиковать нас. Но что делать нам, если ситуация с железной рудой превратилась в общенациональную проблему. Мы не сумели найти руду, Джим.

Таггерт молчал. Он сидел, чуть наклонившись вперед, широко уложив оба локтя на крышку маленького стола и стесняя тем самым троих своих собеседников, однако те не оспаривали привилегию железнодорожного босса.

– Теперь никто не в состоянии отыскать руду, – говорил Бойль. – Естественное истощение залежей, износ оборудования, нехватка материалов, трудности с перевозкой и прочие неизбежные сложности.

– Горнорудная промышленность рушится. И при этом губит мой бизнес, поставку оборудования для рудников, – заявил Пол Ларкин.

– Доказано, что каждый бизнес зависит от всех прочих, – изрек Оррен Бойль. – Поэтому всем нам приходится нести часть чужого бремени.

– Святая истина, – поддакнул Уэсли Моуч. Однако на него, как всегда, никто не обратил никакого внимания.

– Моя цель, – продолжил Оррен Бойль, – заключается в сохранении свободной

экономики. Принято считать, что в наше время она подвергается испытанию. Если она не докажет своей социальной ценности и не примет на себя обязанностей перед обществом, люди не станут ее поддерживать. Если она не заручится поддержкой в народе, с ней будет покончено, не ошибайтесь на этот счет.

Оррен Бойль возник из ниоткуда пять лет назад, и с тех пор имя его не сходило с обложек всех журналов страны. Он начал с собственного капитала в сто тысяч долларов и правительственного займа в две сотни миллионов. В данный момент он возглавлял колоссальный концерн, поглотивший множество более мелких компаний. Этот факт, как он любил говорить, доказывал, что одаренная личность пока еще может преуспеть в этом мире.

– Единственным оправданием частной собственности, – проговорил Оррен Бойль, – является служба общественным интересам.

– В этом, на мой взгляд, нельзя усомниться, – сказал Уэсли Моуч.

Оррен Бойль звучно глотнул. Этот крупный мужчина наполнял все вокруг себя шумными, по-мужски широкими жестами; он производил впечатление человека, переполненного жизнью, если не смотреть в узкие черные щелочки глаз.

– Джим, – проговорил он, – риарден-металл – это просто колоссальная афера.

– Угу, – буркнул Таггерт.

– Я еще не слышал положительного отзыва о нем ни от одного эксперта.

– Да, ни от одного.

– Мы совершенствовали стальные рельсы не одно поколение, увеличивая при этом их вес. Верно ли, что рельсы из риарден-металла оказываются более легкими, чем изготовленные из самой дешевой стали?

– Верно, – кивнул Таггерт. – Легче.

– Но это же вздор, Джим. Это невозможно физически. Для твоей загруженной скоростной главной колеи?

– Именно так.

– Ты накликаешь на себя несчастье.

– Не я, а моя сестра.

Таггерт неторопливо покрутил между пальцами ножку бокала.

Все примолкли.

– Национальный совет металлургической промышленности, – сказал Оррен Бойль, – принял резолюцию, требующую назначить комиссию для расследования вопроса о риарден-металле, поскольку применение его может представлять собой угрозу для общества.

– С моей точки зрения, это чрезвычайно разумно, – сказал Уэсли Моуч.

– Если согласны все, – голос Таггерта вдруг сделался пронзительным, – если люди единодушны в своем мнении, как может возражать им один-единственный человек? По какому праву? Вот что хочу я знать: по какому праву?

Взгляд Бойля был устремлен прямо на Таггерта, однако в неярком свете черты его расплывались... он увидел только бледное, слегка голубоватое пятно.

– Когда мы думаем о природных ресурсах во времена их критической нехватки, – негромко промолвил Бойль, – когда мы думаем о том, что основное сырье расходуется на безответственные эксперименты частного предпринимателя, когда мы думаем о руде...

Не договорив, он вновь посмотрел на Таггерта. Однако тот явно понимал, что Бойль передает ему слово, и находил удовольствие в молчании.

– Общество, Джим, обладает правом решающего голоса, когда речь идет о природных

ресурсах, таких как железная руда. Общество не может оставаться безразличным к неосмотрительной и эгоистичной трате сырья антиобщественным типом. В конце концов, частная собственность представляет собой всего лишь общественное попечение над производством, предпринимаемое ради блага всего общества.

Таггерт посмотрел на Бойля и улыбнулся; улыбка его как бы говорила, что мнение его в известной мере совпадает со словами собеседника:

– Здесь подают помои вместо коктейля. На мой взгляд, такую цену нам приходится платить за отсутствие здесь толпы, всякого сброда. Но мне хотелось бы дать им понять, что они имеют дело со знатоками. Поскольку завязки моего кошелька находятся в моих руках, я полагаю, что могу тратить свои деньги по собственному усмотрению.

Бойль не ответил; лицо его сделалось угрюмым.

– Послушай, Джим... – начал было он.

Таггерт улыбнулся:

– Что? Я слушаю тебя.

– Джим, конечно, ты согласишься с тем, что нет ничего губительнее монополии.

– Это так, – произнес Таггерт, – с одной стороны. Но с другой – ничем не ограниченная конкуренция не менее опасна.

– Верно. Совершенно верно. Правильный курс, по моему мнению, всегда пролегает посередине между двумя крайностями. И поэтому, на мой взгляд, общество обязано обрезать крайности, не правда ли?

– Это так, – сказал Таггерт, – согласен.

– Рассмотрим состояние дел в железорудной промышленности. Общеваловая национальная добыча руды сокращается с непристойной быстротой, что угрожает самому существованию сталеплавильной промышленности. По всей стране закрываются сталелитейные заводы. И только одной горнодобывающей компании везет, только она одна не поражена общим кризисом. Ее продукция продается повсюду и всегда поставляется в соответствии с условиями договора. И кому это выгодно? Никому – кроме ее владельца. Честно это, по-твоему?

– Нет, – согласился Таггерт, – это нечестно.

– У основной доли производителей стали нет собственных рудников. И как мы можем конкурировать с человеком, который сумел отхватить внушительную долю созданных Богом природных ресурсов? Разве удивительно, что он всегда поставляет свою сталь, в то время как нам приходится бороться, ждать, терять клиентов, бросать свое дело? Разве интересы общества позволяют одному человеку губить целую отрасль?

– Нет, – согласился Таггерт, – не позволяют.

– Мне кажется, целью национальной политики должно быть предоставление каждому равных возможностей и собственной доли железной руды, что привело бы к сохранению всей отрасли в целом. Как ты считаешь?

– Я согласен с тобой.

Бойль вздохнул. А потом осторожно сказал:

– Но как мне кажется, в Вашингтоне не найдется достаточного количества людей, способных понять прогрессивные тенденции в общественной политике.

Таггерт неторопливо проговорил:

– Такие люди есть. Конечно, их немного, и не так уж легко к ним пробиться, однако они есть. Я могу поговорить с ними.

Взяв свой бокал, Бойль опорожнил его одним глотком, словно уже услышал то, что хотел бы услышать.

— Кстати, о прогрессивной политике, Оррен, — заметил Таггерт, — не задашься ли ты следующим вопросом: в интересах ли общества во время транспортных перебоев, когда одна за одной лопаются железные дороги и целые области остаются без железнодорожного сообщения, самым расточительным образом дублировать линии и затевать разрушительную — кто кого съест — конкуренцию в тех районах, где старые компании обладают историческим приоритетом?

— Ну вот, — бодрым тоном проговорил Бойль, — какой интересный вопрос ты поднял. Придется обсудить его с моими друзьями из Национального железнодорожного альянса.

— Дружба, — произнес Таггерт как бы в порядке праздной абстракции, — ценнее золота. И он неожиданно повернулся к Ларкину:

— А ты как считаешь, Пол?

— Ну... да, — несколько удивленный тем, что к нему вообще обратились, согласился тот. — Да, конечно.

— Я рассчитываю на твою дружбу.

— Гм?

— Я рассчитываю и на твоих многочисленных друзей.

Все они, похоже, знали, почему Ларкин не ответил сразу; плечи его поникли, опустились к столу.

— Если все выступают за общую цель, тогда никто не пострадает! — вдруг воскликнул он голосом, полным совершенно неуместного в данной ситуации отчаяния и, поймав на себе взгляд Таггерта, с мольбой добавил: — Мне бы не хотелось причинить кому-нибудь вред.

— Это антиобщественная позиция, — с расстановкой произнес Таггерт. — Тот, кто боится принести в жертву другого человека, не имеет права говорить об общей цели.

— Но я изучаю историю, — торопливо произнес Ларкин. — И признаю историческую необходимость.

— Хорошо, — сказал Таггерт.

— Я же не могу сопротивляться общемировой тенденции, не так ли? — Ларкин словно просил, обращая свою просьбу неведомо к кому. — не могу ведь?

— Не можете, мистер Ларкин, — проговорил Уэсли Моуч. — И нас с вами не будут винить, если мы...

Ларкин резко вздрогнул, его как током ударило; он просто не мог смотреть на Моуча.

— Кажется, ты неплохо провел время в Мексике, Оррен? — спросил Таггерт голосом, вдруг ставшим громким и непринужденным. Все понимали, что цель собрания достигнута: то, ради чего они здесь собрались, исчерпано.

— Чудесный край, эта Мексика, — бодрым тоном ответил Бойль. — Бодрит, рождает мысли. Правда, кормят ужасно. Я даже заболел. Но они изо всех сил стараются поставить страну на ноги.

— И как там идут дела?

— Великолепно, на мой взгляд, просто великолепно. Правда, в настоящий момент они... тем не менее мы ведем дела с прицелом на будущее. У Мексиканской Народной Республики огромное будущее. Через несколько лет они перегонят нас.

— А ты был на рудниках Сан-Себастьян?

Все четверо за столом выпрямились и напряглись; все они вложили немалые средства

в эти рудники.

Бойль ответил не сразу, и потому голос его прозвучал неожиданно и неестественно громко:

– Ну конечно, именно этого я и хотел в первую очередь.

– Ну и?

– Что «ну и»?

– Как там идут дела?

– Отлично. Великолепно. Внутри этой горы, должно быть, спрятаны самые большие залежи меди на Земле!

– А как там насчет деловой активности?

– Никогда в жизни не видел большей.

– И чем же они там заняты с такой активностью?

– Ну, знаете ли, тамошний латинос-управляющий говорил на таком жутком английском, что я не понял и половины. Но работают они много, это точно.

– Э... какие-нибудь неприятности?

– Неприятности? Только не в Сан-Себастьяне. Это частная компания, последняя во всей Мексике, в этом и вся разница.

– Оррен, – осторожно спросил Таггерт, – а что это за слухи о планируемой национализации рудников Сан-Себастьян?

– Клевета, – сердитым тоном бросил Бойль, – явная и злобная клевета. Я точно знаю. Я ужинал с министром культуры и обедал с остальными парнями.

– Кажется, есть какой-то закон против распространителей безответственных слухов, – угрюмым тоном промолвил Таггерт. – Давайте пропустим еще по маленькой.

Он раздраженно махнул официанту. В темном уголке зала прятался небольшой бар, за которым давно, без всякого движения, застыл пожилой бармен. Отреагировав на призыв, он двинулся с места с высокомерной медлительностью. Хотя по долгу службы ему полагалось всячески помогать людям отдохнуть и получить удовольствие, он выглядел скорее как озлобленный эскулап, обслуживающий больных нехорошей болезнью.

Все четверо сохраняли молчание, пока официант не принес им напитки. Оставленные им на столе бокалы в полутьме превратились в голубые блики, похожие на слабое пламя газовой горелки. Протянув руку к своему бокалу, Таггерт вдруг улыбнулся.

– Давайте выпьем за жертвы, принесенные исторической необходимости, – сказал он, глядя на Ларкина.

На мгновение воцарилось молчание; в ярко освещенной комнате эта минута могла превратиться в состязание взглядов двоих мужчин, здесь же они попросту взирали в пустые глазницы друг друга. Наконец, Ларкин взял в руку бокал.

– Я угощаю, ребята, – сказал Таггерт, и они выпили.

Говорить было уже не о чем, и Бойль произнес без особого любопытства:

– Кстати, Джим, я хотел спросить, какая чертовщина происходит с твоими поездами на линии Сан-Себастьян?

– Что, собственно, ты имеешь в виду? Что такого с ними происходит?

– Ну, не знаю, но пускать только один пассажирский поезд в день...

– Один поезд?

– ...просто нелепо, на мой взгляд, и потом какой поезд! Должно быть, ты унаследовал эти вагоны еще от прадедушки, который гонял их и в хвост, и в гриву. И в каком медвежьем

углу ты отыскал этот паровоз, работающий на дровах?

– Как это на дровах?

– Да вот так, на дровах. Мне еще не приходилось видеть такого, кроме как на фотографиях. Из какого музея ты его стащил?

И не пытайся изобразить неведение, просто скажи мне, что ты затеял?

– Да нет, конечно же, я в курсе, – заторопился с ответом Таггерт. – Просто... просто ты попал туда как раз в ту неделю, когда у нас были проблемы с локомотивами – мы заказали новые, однако вышла небольшая задержка, – ты знаешь, какие проблемы у нас с производителями локомотивов, но это временная задержка.

– Конечно, – согласился Бойль. – С задержками ничего не поделаешь. Но на более чудном поезде мне еще не доводилось ездить. Меня там едва не вывернуло наизнанку.

Через несколько минут они заметили, что Таггерт притих.

Казалось, он погрузился в себя. И когда он резким движением, без каких-либо объяснений, поднялся, все последовали его примеру, усмотрев в этом приказ.

Ларкин пробормотал с вымученной улыбкой:

– Мне было так приятно, Джим, очень приятно. Так рождаются великие проекты – за выпивкой с друзьями.

– Общественные реформы происходят медленно, – холодным тоном молвил Таггерт. – И нужно быть терпеливым и осторожным.

Он впервые повернулся к Уэсли Моучу:

– Что мне нравится в вас, Моуч, так это то, что вы не слишком говорливы.

Уэсли Моуч был человеком Риардена в Вашингтоне.

Закат еще не погас на небе, когда Таггерт и Бойль вышли на улицу у подножья небоскреба. Факт этот немного удивил обоих – от полумрака в баре создавалось впечатление, что на улице их ждет полночная тьма. На фоне заката вырисовывалось высокое здание, острое и прямое, как занесенный меч. Вдалеке за ним в воздухе висел календарь.

Таггерт с досадой принялся возиться с воротником, застегивая его, чтобы спастись от уличного холода. Он не намеревался возвращаться сегодня в контору, однако теперь это стало необходимым. Следовало повидать сестрицу.

– ...трудное предприятие ожидает нас, Джим, – говорил Бойль, – трудное предприятие, связанное со многими опасностями и сложностями, когда на кон поставлено так много...

– Все зависит... – медленно проговорил Джеймс Таггерт, – от знакомства с нужными людьми... Осталось только узнать, что это за люди.

* * *

Дагни Таггерт было девять лет, когда она обещала себе, что в свое время будет управлять железными дорогами «*Таггерт Трансконтинентал*». Она приняла такое решение, стоя в одиночестве между двух рельсов, глядя на две стальные прямые, уходившие к горизонту и встречающиеся там в одной точке. Железнодорожная колея прорезала лес, абсолютно с ним не считаясь. Глядя на нее, Дагни испытывала высокомерное удовольствие: дорога была чужда чаще древних деревьев, зеленым ветвям, спускавшимся к вершинам кустов, одиноким диким цветам – однако она существовала. Стальные рельсы блестели на солнце, а черные

шпалы превращались в подобие лестницы, по которой ей надо было подняться.

Решение нельзя было назвать внезапным, скорее, оно было последней словесной печатью, скреплявшей то, что и так было давным-давно ей известно. И молча, не договариваясь, словно бы связанные совершенно излишним обетом, она и Эдди Уиллерс с самых юных лет посвятили себя железной дороге.

Взрослые и дети были скучны и неинтересны Дагни. И то, что жить ей приходится среди скучных людей, она воспринимала как некую грустную случайность, с которой надлежало терпеливо мириться какое-то время. Ей удалось заглянуть в другой мир, и она знала, что он где-то существует: мир, создавший поезда, мосты, телеграфные провода и мигающие в ночи огни семафоров. Надо подождать, решила она, и дорасти до этого мира.

Дагни никогда не пыталась объяснить, почему ей нравится железная дорога. Что бы ни чувствовали остальные, она знала, что такого ощущения им не понять, они попросту лишены его. Похожее чувство она испытывала в школе, на уроках математики. Это был единственный предмет, который она любила. Ей нравилось волнение, сопутствующее решению задачи, надменный восторг, с которым она принимала вызов и без труда находила решение, готовая к новым, более сложным испытаниям. Одновременно она ощущала все возраставшее уважение к своему сопернику, к науке, такой чистой, строгой и столь возвышенно рациональной. На занятиях математикой в голове ее сразу возникали две простые мысли: «Как здорово, что люди создали эту науку» и «Как прекрасно, что я хорошо в ней разбираюсь». Радость восхищения наукой и собственными способностями возрастала в ней одновременно. Таким же было и то чувство, которое она испытывала к железной дороге: почтение перед гением, создавшим ее; к изобретательности чьего-то логичного, тонкого интеллекта добавлялась тайная улыбка, означавшая, что однажды она поймет, как сделать лучше. Как подобает смиренному ученику, она крутилась возле путей и паровозных депо, однако в смирении этом угадывалась будущая гордость, которую еще следовало заслужить.

«Ты невыносимо самоуверенна» – таким было одно из двух мнений, которые она то и дело слышала о себе все свое детство, хотя никогда не говорила о своих способностях. Другая версия гласила: «Ты эгоистична». Она пыталась узнать, что значат эти два слова, но так и не получила на них ответа. И смотрела на взрослых, гадая, как им могло прийти в голову, что она будет чувствовать себя виноватой при столь неопределенном обвинении.

Ей было двенадцать, когда она сказала Эдди Уиллерсу, что будет руководить железной дорогой. В пятнадцать лет ей впервые открылось, что женщины железными дорогами не управляют и что люди будут возражать против ее стремления. К черту, решила Дагни, – и мысль эта более не смущала ее.

Она стала работать на «*Таггерт Трансконтинентал*» в шестнадцать лет.

Отец разрешил ей: ему было забавно и чуточку интересно. Она начала с должности ночной дежурной на небольшой сельской станции. Первые несколько лет она работала по ночам, а днем посещала инженерный колледж.

Джеймс Таггерт начал свою карьеру на железной дороге одновременно с сестрой, ему уже исполнился двадцать один год. Он начал свой трудовой путь в отделе по связям с общественностью.

Восхождение Дагни по служебной лестнице «*Таггерт Трансконтинентал*» произошло быстро и никем из мужчин не оспаривалось. Она занимала ответственные посты просто потому, что других кандидатов не было. В ее окружении попадались талантливые люди,

но с каждым годом их становилось все меньше. Начальники Дагни боялись ответственности и не решались пользоваться своими полномочиями; они проводили время в попытках уклониться от решений, поэтому она брала на себя руководство, и ее распоряжения выполнялись.

На каждой ступени ее подъема она исполняла служебные обязанности задолго до того, как получала соответствующий пост. Карьера ее напоминала шествие по пустому дому: никто не пытался преградить ей путь, но никто и не одобрял повышений.

Отец удивлялся и гордился ее карьерой: он молчал, но с печалью в глазах смотрел на дочь, оказавшись в ее кабинете. Когда он умер, ей было двадцать девять. «Во главе железной дороги всегда стоял Таггерт» – таковы были его последние слова, обращенные к ней. В устремленных на дочь глазах отца читалось странное выражение: в нем было и приветствие равного, и сочувствие.

Контрольный пакет акций «*Таггерт Трансконтинентал*» перешел к Джеймсу Таггерту. Ему было тридцать четыре года, когда он стал президентом железной дороги. Дагни ожидала, что совет директоров выберет его, однако она так и не поняла, почему они так поторопились с решением. Они поговорили о традициях, о том, что президент всегда был старшим сыном семьи Таггертов, потом избрали Джеймса Таггерта, чтобы поскорее избежать неопределенности. Они поговорили о его умении «популяризировать железные дороги», его «хорошей прессе», его «вашингтонских контактах». Джеймс необычайно умело добивался расположения властей.

Дагни ничего не знала о его «вашингтонских контактах» и о тех способностях, которые требовались для их поддержания. Однако старания в этой области казались ей необходимыми, посему она отмахнулась от сомнений, решив, что на свете есть много видов работы, малоприятных, но нужных – как, например, чистка сточных труб; кому-то надо брать их на себя, и пусть Джим займется ими, раз ему не противно.

Она не претендовала на президентство, ее заботил только производственный отдел. Когда она стала выезжать на линию, ненавидевшие Джима старые железнодорожники дружно сказали:

«Во главе дороги всегда останется Таггерт», усмотрев в ней продолжательницу отцовского дела. Против Джима ее восстанавливала уверенность в том, что ему не хватает ума, однако Дагни полагала, что брат не сможет нанести слишком большой ущерб железной дороге, потому что она всегда сумеет исправить последствия его ошибок.

В шестнадцать лет, сидя за столом телефонистки, Дагни провожала взглядом мелькавшие снаружи освещенные окна поездов «*Таггерта*» и думала, что попала в нужный ей мир. За прошедшие с тех пор годы Дагни успела убедиться в том, что это не так. Противник, с которым ей приходилось сражаться, не стоил ни поединка, ни победы; он не был достойным врагом, не был достоин соперничества. Врагом ее была всякая бестолочь, серая хлопковая вата, мягкая и бесформенная, не сопротивлявшаяся ничему и никому, и все же преградой лежавшая на ее пути. Обескураженная, она стояла перед этой загадкой, не понимая, как такое возможно. Ответа не было.

Только в те первые годы она иногда мысленно молила о встрече с интеллектом, умным, жестким и блистательно компетентным. Ее посещали приступы мучительной потребности в друге или враге, обладателе дарования, превышающего ее собственное. Однако со временем она забыла об этом. У нее было свое дело, но не было времени чувствовать боль, во всяком

случае, часто.

Первым этапом железнодорожной политики Джеймса Таггерта стало сооружение линии Сан-Себастьян. Многие несли ответственность за него; но, с точки зрения Дагни, под предприятием этим стояла единственная подпись, имя, сразу затмевавшее все прочие. Имя это стояло под пятью годами труда, под милями убыточной колеи, под листками бумаги с цифрами потерь *«Таггерт Трансконтинентал»*, подобных струйке крови, сочащейся из незаживающей раны... Это имя на лентах биржевых аппаратов в тех странах, где еще оставались биржи, и на дымовых трубах, озаренных пламенем медеплавильных печей, стояло в заголовках скандальных статей, значилось оно на пергаментных страницах, сохранивших имена благородных предков, на карточках, вложенных в букеты цветов, попадавших в будуары женщин трех континентов.

Это имя было Франсиско д'Анкония.

В возрасте двадцати трех лет, унаследовав состояние, Франсиско д'Анкония стал известен как медный король всего мира. Теперь, в возрасте тридцати шести лет, он пользовался славой первого богача земли и вместе с тем разнузданного плебоя. Этому последнему потомку благороднейших семейств Аргентины принадлежали скотоводческие ранчо, кофейные плантации и большинство медных рудников Чили. Ему принадлежала половина Южной Америки, а в качестве разменной мелочи к этой крупной купюре прилагались рудники, рассыпанные по Соединенным Штатам.

Когда Франсиско д'Анкония вдруг приобрел многомильный участок пустынных мексиканских гор, в прессу просочились известия о том, что он обнаружил там огромные залежи меди. Он даже не пытался продавать акции своего нового предприятия; их в буквальном смысле слова добивались, и д'Анкония удостоивал этой чести лишь тех, кого хотел выделить среди просителей. Его финансовое дарование считалось феноменальным; никто и никогда не мог обыграть его ни в одном деле, и он умножал свое немыслимое состояние с каждой очередной сделкой, вместе с каждым предпринятым шагом, когда благоволил сделать его. И те, кто более всех остальных порицал его, первыми старались ухватиться за возможность попользоваться его талантом, поживиться долей его нового дохода. Джеймс Таггерт, Оррен Бойль и их приятели принадлежали к числу самых крупных вкладчиков в проект, которому Франсиско д'Анкония дал имя *«Копи Сан-Себастьян»*.

Дагни так и не сумела узнать, под чьим влиянием Джеймс Таггерт решил построить железнодорожную ветку из Техаса в глушь, к Сан-Себастьяну. Возможно, он и сам не знал этого: подобно полю, лишенному лесозащитной полосы, он был открыт для всякого дуновения, и итог определялся случаем. Несколько директоров *«Таггерт Трансконтинентал»* возражали против этой идеи. Компания нуждалась во всех своих ресурсах для возобновления линии Рио-Норте и не могла осилить обе стройки одновременно. Однако Джеймс Таггерт был недавно избранным президентом дороги. Шел первый год его правления. И он победил.

Мексика была готова к сотрудничеству и подписала договор, на две сотни лет гарантировавший *«Таггерт Трансконтинентал»* право собственности на построенную железную дорогу, притом что в стране подобной частной собственности не существовало. Франсиско д'Анкония получил аналогичную гарантию на свои рудники.

Дагни упорно боролась против строительства линии Сан-Себастьян. Но в ту пору она была всего лишь ассистенткой в производственном отделе и по молодости лет еще не располагала авторитетом, посему желающих прислушаться к ее мнению не нашлось.

И в то время, и впоследствии она так и не сумела понять мотивы, которыми

руководствовались сторонники сооружения линии. Присутствуя на одном из заседаний правления в качестве беспомощного наблюдателя, представителя меньшинства, она ощущала странную уклончивость в самой атмосфере собрания, в каждой речи, в каждом приведенном аргументе, словно бы реальная, определившая решение причина была известна всем, кроме нее самой, но так и не прозвучала вслух.

Там говорили о важности будущих торговых связей с Мексикой, об обильном потоке грузовых перевозок и о больших доходах, которые гарантированы монопольному владельцу права на транспортировку неистощимых запасов меди. Доказательствами служили прошлые достижения Франсиско д'Анкония. Геологические доказательства богатства рудников Сан-Себастьян не приводились. Информация ограничивалась несколькими фактами, которые обнаружил д'Анкония. В большем количестве доказательств здесь и не нуждались.

Было много речей о бедности мексиканцев и о том, как отчаянно нуждаются они в железных дорогах: «У них не будет другого шанса», «Наш долг – помочь слаборазвитому государству. Страна, на мой взгляд, должна приходить на помощь своим соседям».

Она сидела, слушала и думала о тех ветках, от которых «*Таггерт Трансконтинентал*» пришлось отказаться; доходы знаменитой железнодорожной компании год за годом неуклонно сокращались. Она думала о грозной необходимости ремонтов, самым зловещим образом подступившей ко всей дороге.

Политику компании в вопросах обслуживания можно было назвать игрой, точнее, кусочком резины, которую всегда можно растянуть сильнее, а потом еще сильнее.

«На мой взгляд, мексиканцы – очень старательный народ, угнетенный собственной примитивной экономикой. Разве может эта страна стать индустриальной, если никто не протянет ей руку?» «Обдумывая свои вложения, мы обязаны, по моему мнению, считаться, скорее, с людьми, а не с материальными факторами».

Ей представился паровоз, свалившийся в канаву возле линии Рио-Норте, потому что треснула соединявшая рельсы стяжка. Ей вспомнились те пять дней, на которые было остановлено все движение по линии Рио-Норте, потому что рухнула опалубка горного склона и на путях образовался многотонный завал из камней.

«Поскольку человек обязан заботиться о благе своих братьев, прежде чем обратиться к размышлениям о собственном благе, мне кажется, что американскому народу надлежит подумать о ближайших соседях, прежде чем обращаться к размышлениям о собственной выгоде».

Она думала о прежде неизвестном Эллисе Уайэтте, на которого начинали обращать внимание, поскольку в результате его трудов из умиравших доселе пустынь Колорадо начинал течь поток товаров. И линии Рио-Норте позволили прийти в полное запустение именно тогда, когда возникла потребность в ее максимальном использовании.

«Низменная жадность – это еще не все. Следует учитывать и нематериальные идеи». «Я со стыдом признаюсь себе в том, что мы располагаем огромной сетью железных дорог, в то время как у мексиканского народа насчитывается всего две жалкие линии». «Старинная теория экономической самодостаточности давным-давно рухнула. Одна страна не может процветать посреди умирающего от голода мира».

Дагни подумалось, что «*Таггерт Трансконтинентал*» стала такой, какой была прежде, задолго до ее рождения, когда на учете был каждый наличный рельс, костыль и доллар и когда отчаянно не хватало ни того, ни другого, ни третьего.

На том же самом заседании много было сказано об эффективности мексиканского

правительства, полностью управлявшего всеми ресурсами. У Мексики великое будущее, говорили они, буквально через несколько лет страна эта превратится в опаснейшего конкурента. «В Мексике есть дисциплина», – говорили директора с ноткой зависти в голосе.

Джеймс Таггерт дал всем понять – недоговоренными фразами и неопределенными намеками, – что его друзья в Вашингтоне, которых он так и не назвал, хотели бы видеть в Мексике железнодорожную линию, что подобная линия окажет большое содействие в вопросах международной дипломатии, что добрая воля и мировое общественное мнение более чем оправдают вложения «*Таггерт Трансконтинентал*».

И директорат проголосовал за выделение тридцати миллионов долларов на строительство линии Сан-Себастьян.

Когда Дагни покинула кабинет, в котором проводилось заседание, и вышла на прохладный чистый уличный воздух, в ее опустошенном сознании были лишь два слова: «Уходи отсюда... уходи отсюда...»

«Уходи».

Дагни с изумлением прислушивалась к самой себе. Мысль об уходе из «*Таггерт Трансконтинентал*» не принадлежала к числу тех, которые она могла посчитать здравыми. Она ужаснулась, но не самой этой мысли, а той ситуации, которая породила ее. Гневно качнув головой, она сказала себе, что теперь «*Таггерт Трансконтинентал*» нуждается в ней куда больше, чем прежде.

Двое из директоров подали в отставку, так же поступил и вице-президент, руководивший производственным отделом. Его сменил один из приятелей Джеймса Тагерта. Стальные рельсы поползли через мексиканскую пустыню, был отдан приказ уменьшить скорость движения поездов по линии Рио-Норте из-за износа линии. На пыльной и немощенной центральной площади мексиканской деревушки возвели облицованный мрамором и украшенный зеркалами вокзал из железобетона, а на линии Рио-Норте свалился под откос целый состав цистерн с нефтью, превратившихся в обожженный пламенем металлолом, потому что в колее лопнул рельс. Эллис Уайэтт не стал дожидаться суда, чтобы усмотреть в случившемся волю Господню, как предлагал Джеймс Таггерт. Он просто передал все перевозки своей нефти «*Феникс-Дуранго*», компании незаметной, но педантичной и в своих стараниях преуспевавшей.

Этот факт и дал начальный толчок «*Феникс-Дуранго*». Теперь она росла, следуя росту «*Уайэтт Ойл*», чьи заводы возникали в соседних поселках, в то время как полоса рельс и шпал тянулась все дальше и дальше между жидких полей мексиканской кукурузы, прирастая со скоростью двух миль в месяц.

Дагни было тридцать два года, когда она сообщила Джеймсу Таггерту о своем намерении уйти в отставку. Последние три года она руководила производственным отделом, не имея официальной должности, доверия и власти. Ей надоело тратить часы, дни и ночи на попытки исправить плоды вмешательства приятеля Джима, занимавшего пост вице-президента и формального руководителя производственного отдела. У него не было собственной политики, любое принятое им решение подсказывала она, однако принимал он ее советы, только предварительно предприняв все усилия, чтобы сделать исполнение их невозможным. Она предъявила своему брату ультиматум. Тот ахнул.

– Дагни, но ты ведь женщина! Женщина на посту вице-президента и руководителя производственного отдела? Это неслыханно! Правление даже не станет рассматривать подобный вопрос!

– Тогда я уйду, – ответила она.

Дагни не размышляла о том, что будет делать остаток жизни.

Оставить «*Таггерт Трансконтинентал*» было для нее все равно, что позволить ампутировать себе обе ноги. Она подумала: будь что будет, потом разберемся.

Она так и не поняла, почему Правление единодушно проголосовало за то, чтобы назначить ее вице-президентом и руководителем производственного отдела.

Она собственными руками закончила строительство линии Сан-Себастьян. Когда она начала работу, стройка длилась уже три года, была проложена треть колеи, а текущая стоимость уже перевалила за установленную смету всей дороги. Она уволила всех приятелей Джима и отыскивала подрядчика, который закончил всю работу за год.

Линию Сан-Себастьян сдали в эксплуатацию. Однако из-за границы не потекли товары, не загромыхали на стыках груженные медной рудой поезда. Редкие, считанные вагоны спускались с гор Сан-Себастьяна. Рудники, говорил Франсиско д'Анкония, пока еще находятся в процессе разработки. «*Таггерт Трансконтинентал*» продолжала нести убытки.

И теперь Дагни сидела за столом в своем кабинете, где проводила долгие вечера, пытаясь определить, какие направления и когда могут выручить всю систему.

Перестроенная линия Рио-Норте могла бы спасти все остальное. Разглядывая листки бумаги, объявлявшие о новых и новых потерях, она не думала о долгой и бессмысленной агонии мексиканского предприятия. Она вспоминала свой телефонный звонок:

– Хэнк, ты можешь спасти нас? Можешь ли ты предоставить нам рельсы в кратчайший срок и в самый долгий кредит?

Спокойный и уверенный голос ответил:

– Конечно.

Мысль эта стала точкой опоры. Дагни склонилась над разложенными на столе листами бумаги, обнаружив, что теперь может сосредоточиться. У нее появилось хоть что-то, способное выстоять, не рухнуть, не рассыпаться в самый последний момент.

Джеймс Таггерт вступил в приемную кабинета Дагни, еще сохраняя известную долю той уверенности, которую полчаса назад ощущал в баре, в обществе своих приятелей. Однако когда он открыл дверь, уверенность эта испарилась сама собой. И к столу сестры он подходил уже как нашкодивший ребенок, ожидающий наказания, память о котором сохранится на многие годы.

Голова Дагни была склонена над бумагами, в свете лампы поблескивали пряди растрепанных волос, белая блузка липла к плечам, свободными складками выдавая худобу тела.

– Что у тебя, Джим?

– Что ты устраиваешь на линии Сан-Себастьян?

Она приподняла голову:

– Устраиваю? Что ты имеешь в виду?

– Какое у нас там расписание и какие поезда там ходят?

Она рассмеялась; к веселью в голосе примешивалась усталость:

– Иногда стоило бы читать отчеты, которые кладут на стол президента, Джим.

– Что ты хочешь сказать?

– То, что мы придерживаемся такого расписания и пускаем такие поезда по линии Сан-Себастьян уже три месяца.

- Один пассажирский поезд в день?
- С утра. И один товарный состав ночью.
- Боже милостивый! И это на такой важной ветке?
- На такой важной ветке не окупается и эта пара поездов.
- Однако мексиканский народ ждет от нас настоящей помощи!
- Я в этом не сомневаюсь.
- Ему нужны поезда!
- Для чего?

– Чтобы... чтобы помочь развитию национальной промышленности. Как, по твоему мнению, сможет она развиваться, если мы не обеспечим Мексику транспортом?

– Я не ожидаю, что промышленность этой страны будет развиваться.

– Это всего лишь твое личное мнение. И я не понимаю, какое право имеешь ты собственной волей урезать расписание. Одни только перевозки меди окупят все.

– Когда?

Джеймс поглядел на сестру. На лице его появилось удовлетворение человека, получившего возможность сказать обидную вещь.

– Надеюсь, ты не собираешься усомниться в процветании этих медных рудников? Ведь они принадлежат Франсиско д'Анкония! – Он подчеркнул голосом это имя, не отводя взгляда от сестры.

Она проговорила:

– Возможно, он твой друг, но...

– Мой друг? А я думал, что твой.

Дагни ровным голосом произнесла:

– Уже десять лет как не мой.

– Плохо-то как. Ведь он один из самых удачливых бизнесменов в мире. Он никогда не проваливал предприятий, деловых, как ты понимаешь, и в рудники эти он вложил миллионы, так что мы можем положиться на его суждение.

– Когда ты, наконец, поймешь, что Франсиско д'Анкония превратился в ничтожного тунеядца?

Джеймс усмехнулся:

– Я всегда полагал, что как личность он неинтересен. Но ты не разделяла моего мнения. Ты возражала. О, еще как возражала! Помнишь, как мы ссорились на эту тему? Может, процитировать некоторые твои высказывания? И высказать догадку о причине некоторых твоих поступков?

– Ты хочешь поговорить о Франсиско д'Анкония? И пришел сюда ради этого?

На лице его появились признаки гнева и разочарования, потому что ее лицо оставалось бесстрастным.

– Тебе прекрасно известно, зачем я сюда пришел! – отрезал он. – Я слышал совершенно невероятные вещи о тех поездах, которые ходят у нас по Мексике.

– Какие вещи?

– Какого рода подвижной состав ты там используешь?

– Хуже которого у меня нет.

– Ты это признаешь?

– Я отмечала это в посланных тебе отчетах.

– И это правда, что ты используешь дровяные паровозы?

– Эдди отыскал их для меня в Луизиане, в чем-то заброшенном депо. Он не сумел даже выяснить название этой железной дороги.

– И эта рухлядь носит имя поездов Таггерта?

– Да.

– В чем заключается великая идея? Что происходит? Я хочу знать, что происходит!

Дагни проговорила ровным голосом, глядя в лицо брату:

– Если ты хочешь знать, я оставила на линии Сан-Себастьян одну только рухлядь и притом в минимальном количестве. Я забрала из Мексики все, что можно забрать: маневровые паровозы, инструменты и оборудование, даже пишущие машинки и зеркала.

– А за каким чертом?

– Чтобы грабителям досталось поменьше добычи, когда они национализируют линию.

Он вскочил на ноги:

– Это тебе с рук не сойдет! На сей раз такая выходка выйдет тебе боком! Надо же иметь совесть, чтобы обойтись столь низменным, подлым образом... просто из-за каких-то зловредных слухов, когда мы располагаем контрактом на двести лет...

– Джим, – проговорила она неторопливо, – наша фирма не располагает ни одним лишним вагоном, паровозом или тонной угля.

– Я не позволю, я самым решительным образом не позволю проводить такую бесстыдную политику в отношении дружественного народа, нуждающегося в нашей помощи. Низменная жадность не оправдание. В конце концов, существуют и высшие соображения, даже если ты не способна понять их!

Дагни положил перед собой блокнот и взяла карандаш:

– Хорошо, Джим. Сколько поездов должна я по твоему указанию пустить по линии Сан-Себастьян?

– Гм?

– Сколько поездов и на каких линиях я должна отменить, если ты хочешь иметь там дизельные тепловозы и стальные вагоны?

– Я не хочу, чтобы ты отменяла поезда!

– Тогда откуда я возьму подвижной состав для Мексики?

– Это ты должна знать. Это твоя работа.

– Я не в состоянии выполнить ее. Так что решай.

– Опять твои гнилые штучки... хочешь переложить ответственность на меня!

– Я жду твоих распоряжений, Джим.

– Я не позволю тебе заманить меня в такую ловушку!

Она отбросила карандаш:

– Тогда расписание поездов на линии Сан-Себастьян остается без изменения.

– Хорошо, подождем до следующего месяца, до заседания правления. Я потребую, чтобы там приняли решение. Чтобы раз и навсегда запретили производственному отделу превышать рамки своих полномочий. И ты ответишь там за все.

– Отвечу.

Дагни вернулась к прерванной работе еще до того, как за Джеймсом Таггертом закрылась дверь.

Когда она покончила с делами, отодвинула бумаги и посмотрела в окно, небо сделалось черным и город превратился в россыпь освещенных окон на исчезнувших стенах. Дагни поднялась безособой охоты. Она понимала, что устала сегодня, и видела в усталости свое

мелкое поражение.

Снаружи в офисе было темно и пусто. Сотрудники уже разошлись по домам, и лишь Эдди Уиллерс находился на своем месте, за столом, располагавшимся за стеклянной перегородкой, который казался теперь освещенным кубом в углу просторного помещения. Проходя мимо, она помахала ему.

Она спустилась на лифте в вестибюль, но не здания, а расположенного под ним вокзала «*Таггерт*». Ей нравилось проходить через вокзал по пути домой.

Ей всегда казалось, что вестибюль этот напоминает храм. Глядя вверх, на высокий потолок, она видела неярко освещенные своды, опиравшиеся на огромные гранитные колонны, и верхние абрисы застекленных тьмой окон. Своды, полные торжественной умиротворенности католического собора, защитным покровом простирались над людской кутерьмой.

Видное место в вестибюле занимала статуя основателя дороги Натаниэля Таггерта, не пользовавшаяся, впрочем, особым вниманием пассажиров.

Лишь одна Дагни не могла равнодушно пройти мимо нее, не отдав дань уважения изваянию великого предка. Взгляд, брошенный на него по пути через вестибюль, был единственной известной Дагни разновидностью молитвы.

Натаниэль Таггерт, авантюрист, без гроша в кармане явившийся из какого-то местечка Новой Англии, построил железную дорогу через континент в пору, когда появились первые стальные рельсы. Его дорога стояла по сию пору; битва за постройку ее превратилась в легенду, ибо люди предпочитали или не понимать ее значения, или попросту считать невозможной.

Человек этот никогда не признавал за другими права преграждать ему путь. Поставив себе цель, он неуклонно двигался к ней по пути, столь же прямому, как и железная дорога, уходящая за горизонт. Он никогда не пытался добиться от правительства никаких займов, ссуд, субсидий, земельных дотаций или законодательных льгот. Он брал деньги у тех, кто имел их, переходя от двери к двери – будь то выточенная из красного дерева дверь банкира или сколоченная из грубых досок дверь фермерского дома. Он никогда не брался толковать об общественном благе. Он просто говорил людям, что его железная дорога принесет им крупный доход, объяснял, откуда этот доход возьмется, и приводил аргументы. Веские аргументы.

И во все последующие поколения «*Таггерт Трансконтинентал*» оставалась в числе тех немногих дорог, которые не обанкротились, и единственной, контрольный пакет акций которой остался в руках потомков основателя.

При жизни имя Ната Таггерта пользовалось не то чтобы славой, но, скорее, печальной известностью; его повторяли не с уважением, но с брезгливым любопытством; а если и находился какой-нибудь почитатель, то почтение его было тем, с которым относятся к удачливому бандиту. И тем не менее ни один пенни его состояния не был нажит грабежом или обманом. На нем не было никакой вины, если не считать ею то, что свое состояние он заработал сам и никогда не забывал о том, что принадлежит оно ему и только ему.

Шепотком поговаривали о нем многое. Рассказывали, что где-то в глуши, на Среднем Западе, он пристрелил одного из местных законодателей, который попытался отозвать предоставленные ему разрешения, отозвать, когда железнодорожная колея уже пересекла половину штата; там решили заработать на акциях Таггерта, распродав их. Ната Таггерта обвинили в убийстве, однако обвинения так и не сумели доказать. С тех пор у него никогда

не случалось проблем с местными властями.

Рассказывали, что Нат Таггерт неоднократно ставил свою жизнь на кон ради железной дороги; но однажды он поставил нечто большее, чем жизнь. Отчаянно нуждаясь в средствах, когда сооружение линии замедлилось, он спустил с трех пролетов лестницы почтенного джентльмена, предложившего ему правительственный заем. А потом выставил в качестве залога собственную жену, получив деньги у миллионера, ненавидевшего Ната и восхищавшегося красотой этой женщины. Таггерт вовремя расплатился с миллионером, и ему не потребовалось отдавать залог. Сделка была совершена с полного согласия супруги. Сказочная красавица эта происходила из благородного семейства одного южного штата, и родные отреклись от нее, когда она сбежала из дома с Натом Таггертом, тогда еще не имевшим ни гроша за душой молодым авантюристом.

Дагни иногда сожалела о том, что Нат Таггерт был ее предком. Ее любовь к нему трудно было вместить в рамки семейных отношений. Она не хотела испытывать к нему чувство, с каким относятся к дядюшке или деду. Она не умела любить не избранный ею самой объект и возмущалась, когда от нее требовали этого. Тем не менее, если бы предков можно было выбирать, она предпочла бы иметь таковым именно Ната Таггерта – добровольно и с полной благодарностью.

Основой для создания скульптурного изображения Ната Таггерта послужил некогда сделанный карандашный набросок, единственное сохранившееся изображение его внешности. Нат дожил до глубокой старости, однако никто не мог представить себе его иным, не таким, каким был он на этом наброске, – молодым человеком. В детские годы Дагни эта скульптура являлась для нее первым образцом воплощения высоты духа. Когда потом ее послали в церковь и школу и она слышала от людей эти слова, то сразу поняла, что они обозначают: эту статую. Это был молодой парень, худощавый, высокий, с угловатым лицом. Горделиво подняв голову, он принимал вызов и радовался тому, что способен принять его. Все, чего Дагни ждала от жизни, содержалось в этом желании держать голову так, как он.

Пересекая в тот вечер вестибюль, она снова посмотрела на памятник. Его присутствие давало мгновение отдыха; казалось, что с плеч ее сбросили бремя, имени которому не знала она сама, казалось, что легкий ветерок прикасается к разгоряченному лбу.

В уголке вестибюля, возле входа, располагался небольшой газетный киоск. Владелец его, тихий и любезный старик, провел за своим прилавком двадцать лет. Прежде он был хозяином сигаретной фабрики, однако она разорилась, и он обрек себя на забвение в этом крохотном киоске, расположенном посреди вечного водоворота приезжих. У него не было семьи, не было и друзей.

Единственное удовольствие ему приносило хобби: человек этот собирал сигареты, изготавливавшиеся во всех концах мира, и знал каждую марку, которая выпускалась прежде или в настоящее время.

Дагни любила останавливаться возле его киоска по пути домой. Он словно бы сделался частью вокзала «*Таггерта*», словно старый сторожевой пес, слишком одряхлевший, чтобы защищать его, однако вселяющий уверенность своим присутствием. Ее визиты были приятны и старику; ему нравилось размышлять о том, что лишь он один во всей этой толпе знает истинное предназначение этой молодой женщины в спортивном плаще и сдвинутой набок шляпке, неузнанной среди людского водоворота.

Дагни остановилась возле киоска, чтобы как всегда купить пачку сигарет.

– Ну, как поживает коллекция? – спросила она. – Есть что-нибудь новенькое?

Печально улыбнувшись, киоскер покачал головой.

– Увы, мисс Таггерт. В мире перестали выпускать новые марки. Даже старых больше не делают, исчезают одна за другой. В продаже осталось только пять или шесть. А были дюжины. Люди перестали делать новые вещи.

– Это пройдет. Такое положение не может длиться долго.

Он поглядел на нее, не отвечая. А потом сказал:

– Мне нравятся сигареты, мисс Таггерт. Мне приятно представлять себе огонь в руке человека. Огонь – опасная сила, и ее укрощают пальцы. Я часто задумываюсь о тех часах, которые человек проводит в одиночестве, вглядываясь в сигаретный дымок и размышляя. Хотелось бы знать, сколько великих идей рождено в такие часы. Когда человек мыслит, в разуме его загорается пламя, и огонек сигареты служит вполне уместным символом его.

– Но много ли людей вообще способны думать? – против собственной воли спросила она и смолкла. Вопрос этот давно мучил ее, и Дагни не хотелось обсуждать его с кем-то другим.

Старик посмотрел на нее так, как если бы понял причину внезапной паузы, однако он не стал отвечать, а вместо этого сказал:

– Мне не нравится то, что происходит теперь с людьми, мисс Таггерт.

– Что же?

– Не знаю. Но я наблюдаю за ними уже двадцать лет. И заметил перемену. Здесь люди всегда мчатся, и мне было приятно видеть спешку людей, понимающих, куда они спешат, и старающихся добраться туда побыстрее. Теперь они торопятся, потому что боятся. Теперь их гонит вперед не цель, а страх. Они не находятся на пути куда-то, они спасаются. И я не уверен в том, что они понимают, от чего спасаются. Они не смотрят друг на друга. Они вздрагивают, ощутив прикосновение. Они слишком много улыбаются, но это уродливые улыбки: в них нет радости, только мольба. Я не понимаю, что происходит с миром. – Он пожал плечами. – Ах да, кто такой Джон Голт?

– Всего лишь пустая, бессмысленная фраза!

Дагни смутилась собственной резкости и извиняющимся тоном заметила:

– Не люблю бестолковые поговорки. Что она означает? И откуда взялась?

– Этого никто не знает, – неторопливо ответил ее собеседник.

– Почему люди повторяют эти слова? Никто не может объяснить их смысл, и, тем не менее, все пользуются ими так, как если бы знали его.

– Почему это смущает вас? – спросил киоскер.

– Мне не нравится тот смысл, которым они наделяют эти слова.

– И мне тоже, мисс Таггерт.

* * *

Эдди Уиллерс ужинал в рабочем кафетерии на вокзале «*Таггерт*». В здании находился ресторан, который предпочитали старшие служащие фирмы, однако ему там было неуютно. Кафетерий, напротив, казался частью железной дороги, и он ощущал себя здесь как дома.

Кафетерий располагался под землей. Свет электрических ламп отражался в белом кафеле стен, преобразавшихся в подобие серебряной парчи. Высокий потолок, сверкающие

хромом и стеклом прилавки создавали ощущение светлого простора.

Иногда в кафетерии Эдди Уиллерс встречался с одним из железнодорожников, рабочим. Лицо его было симпатично Эдди. Однажды они случайно завязали разговор, и теперь у них вошло в обычай ужинать вместе, если они встречались.

Эдди не помнил, интересовался ли он когда-либо именем рабочего или чем он занимается. Нетрудно было предположить, что знакомый его был из самых низов, грубая одежда его всегда лоснилась от масляных пятен. Человек этот был для него не личностью, только безмолвным представителем безликого множества лиц, главным интересом в жизни которых, как и у него самого, была компания *«Таггерт Трансконтинентал»*.

Припозднившись сегодня, Эдди заметил своего рабочего за столиком в уголке наполовину опустевшего зала. Радостно улыбнувшись, Эдди помахал ему и понес поднос с тарелками к его столику.

Оказавшись в уютном уголке, Эдди сразу ощутил облегчение, расслабившись после долгого и напряженного дня. Здесь он мог говорить как нигде более, признавать вещи, которые не признал бы ни перед кем другим, думать вслух, вглядываясь во внимательные глаза сидевшего напротив рабочего.

– Линия Рио-Норте – наша последняя надежда, – проговорил Эдди Уиллерс. – Одна она спасет нас. Мы получим, по крайней мере, одну находящуюся в хорошем состоянии ветку там, где она нужна более всего, и она поможет нам сохранить все остальное... Забавно, не так ли? – говорить о последней надежде *«Таггерт Трансконтинентал»*. Будешь ли ты серьезно слушать человека, который скажет тебе, что какой-то там метеорит вот-вот уничтожит Землю?.. Я лично не стану... «От океана до океана, вовеки» – вот что слышали мы о нашей железной дороге все детство. Нет, «вовeki» там не было, но это подразумевалось... Знаешь, я человек невеликий. Я не сумел бы построить эту железную дорогу. И если она уйдет в прошлое, я не сумею ее вернуть. Мне придется уйти вместе с ней... и не обращай на меня внимания. Не знаю, почему сегодня я говорю все это. Наверно, я сегодня слишком устал... Да, я засиделся допоздна. Она не просила меня задержаться, однако под дверью ее кабинета горел свет, долго горел, уже после того, как все ушли... да, она тоже ушла домой... Неприятности? О, в конторе всегда неприятности. Но ее они не тревожат. Она знает, что сумеет вытащить нас... Конечно, это плохо. У нас было больше аварий, чем ты мог слышать. На прошлой неделе мы опять потеряли два дизеля. Один скончался от старости, другой погиб в лобовом столкновении... Да, мы заказали новые дизели на *«Юнайтед Локомотив»*, но ждем их уже два года. Не знаю, получим ли мы их когда-нибудь или нет... Боже, как они нужны нам! Локомотивы – ты даже представить себе не можешь, насколько это важно. В них сердце железной дороги... Чему ты улыбаешься?.. Как я и говорил, дела плохи. Но, во всяком случае, линия Рио-Норте пойдет на поправку. Первая партия рельсов должна поступить через несколько недель. Через год мы пустим новый поезд по новой колее. На сей раз нас ничто не остановит... Конечно, я знаю, кто будет класть рельсы, – Макнамара из Кливленда, подрядчик, достраивавший для нас линию Сан-Себастьян. Во всяком случае, этот человек знает свое дело. Сомневаться не в чем. Мы можем рассчитывать на него. Хороших подрядчиков осталось не так много... нас загоняют на работе, но мне это нравится. Я прихожу на работу за час до начала, но она всегда является раньше. Она всегда первая... Что?.. Не знаю, что она делает по ночам. Ничего особенного, насколько я знаю... Нет, она никуда не ходит, никуда и ни с кем. Сидит у себя дома и слушает музыку. Пластинки крутит... Хочешь знать, чьи? Ричарда Халлея. Ей нравится музыка

Ричарда Халлея. Кроме железной дороги она любит только его музыку.

ГЛАВА IV. НЕДВИЖНЫЕ ДВИЖИТЕЛИ

«Локомотивы, – думала Дагни, рассматривая здание “*Таггерт Трансконтинентал*” в сумерках, – вот что было для него главным. Теперь моя цель в том, чтобы помочь этому зданию устоять, движение должно сохранить его прежним. Ведь покоится оно не на вбитых в гранит сваях – на локомотивах, пересекающих континент».

Дагни почувствовала смутную тревогу. Она вернулась из поездки в Нью-Джерси, на завод «*Юнайтед Локомотив Уоркс*», куда отправилась, чтобы лично встретиться с президентом этой компании. Она ничего не добилась и так и не узнала причин задержки поставок, ей даже не назвали точный срок, когда будут готовы необходимые ей дизельные локомотивы. Президент компании уделил беседе с ней два часа, но ответы не имели никакого отношения к ее вопросам. В его манере держаться странным образом сквозила некая снисходительная укоризна, словно бы Дагни проявляла предосудительную неблаговоспитанность, нарушая всем и каждому известные нормы пристойного поведения.

Проходя по заводу, она заметила огромный механизм, брошенный в углу двора. Некогда эта груда металла являлась прецизионным станком, и подобных ему теперь нельзя было приобрести ни за какие деньги. Станок не был изношен – его сгноило пренебрежение, он был покрыт пятнами ржавчины и черной, грязной смазки. Дагни отвернулась, чтобы не видеть его. Зрелища подобного рода всегда повергали ее в бешенство. Причин этому Дагни не знала, они попросту не поддавались определению. Она только понимала, что вопиет против несправедливости, и что реакция ее вызвана чем-то совсем иным, большим, чем просто очередной старый механизм.

Когда она вошла в свою приемную, люди уже разошлись, один только Эдди Уиллерс еще дожидался ее. По тому, как Эдди выглядел, и по тому, что он немедленно молча направился следом за ней в кабинет, Дагни немедленно поняла – что-то случилось:

– Что произошло, Эдди?

– Макнамара кончился.

Она в недоумении вскинула брови:

– Как это «кончился»?

– Ушел от дел. Вышел в отставку. Закрыв свое дело.

– Макнамара, наш подрядчик?

– Да.

– Но это невозможно!

– Знаю.

– Что случилось? Почему?

– Никто понятия не имеет.

Задумчиво, неторопливыми движениями, она расстегнула пальто, села за стол и принялась стаскивать с рук перчатки. А потом сказала:

– Начни сначала, Эдди. Садись.

Он ответил ей спокойным голосом, но остался стоять:

– Я разговаривал с его главным инженером, по междугородному. Он позвонил нам из Кливленда, чтобы известить о случившемся. Это все, что он сказал. Ничего больше ему не было известно.

– Ну и?

– Макнамара закрыл свое дело и уехал.

– Куда?

– Ему это неизвестно. Как и всем остальным.

Дагни вдруг заметила, что все еще держится за два стянутых пальца левой перчатки, забыв снять ее до конца. Сорвав перчатку с руки, она бросила ее на стол.

Эдди проговорил:

– Он оставил за собой груду заключенных контрактов, тянущих на целое состояние. Список клиентов у него был расписан на три года вперед...

Она молчала, и Эдди негромко добавил:

– Если бы я мог понять, что происходит, мне не было бы страшно... Однако поступить таким образом, не имея на то никакой причины...

Дагни по-прежнему молчала, и он продолжил:

– Макнамара был лучшим подрядчиком во всей стране.

Они смотрели друг на друга. Дагни хотелось сказать: «О боже, Эдди, о боже!»

Но вместо этого она произнесла ровным голосом:

– Не беспокойся. Мы найдем другого подрядчика для линии Рио-Норте.

Свой кабинет Дагни оставила поздно. И, оказавшись на тротуаре, возле входа в здание, беспомощно посмотрела сначала налево, затем направо. Она вдруг почувствовала, что силы, желания, стремления разом исчезли, словно внутри нее остановился сломавшийся ямотор.

Слабое свечение поднималось к небу за спинами зданий, отражая движение тысяч неведомых огней, электрическое дыхание города.

Ей захотелось отдохнуть. Отдохнуть, подумала Дагни, и развлечься.

Работа предоставляла Дагни все, что было ей нужно, все, чего она хотела. Но иногда, как и в этот вечер, она ощущала внезапную и странную пустоту, даже не пустоту, а молчание, и не отчаяние, а неподвижность, словно бы ничто в ней не рушилось, но замерло на месте. И тогда приходило желание найти вне себя мгновение радости, оказаться пассивным созерцателем великого – будь то произведение чьих-то рук или просто зрелище. Ничего не созидать, думала она, но принимать; не начинать, но реагировать; не создавать, но восхищаться... только потом я смогу продолжить существование, ибо счастье – топливо для души.

Она всегда была – Дагни прищурилась и чуть улыбнулась с легкой горечью – движущей силой собственного счастья. И сейчас она хотела ощутить на себе силу чужих достижений. Как людям на темных просторах прерии было приятно видеть пролетающие мимо освещенные вагоны поезда, ее достижения, знак ее могущества, придававшего им уверенность посреди ночных просторов, так и она хотела в этот момент ощутить подобное чувство, пережить мимолетную встречу, помахать рукой и сказать: «Кто-то проехал мимо...»

Она неторопливо пошла, опустив руки в карманы... тень чуть сдвинутой на лоб шляпки прикрывала лицо. Окружавшие ее дома вздымались на такие высоты, что глаза не могли отыскать небо. Дагни подумала: раз на постройку этого города было потрачено столько сил, он должен и многое предлагать человеку.

Черная дыра прикрепленного над дверью в магазин громкоговорителя извергала звуки. Транслировали концерт симфонической музыки, исполнявшийся где-то в городе. Протяжный визг не имел формы, он был подобен разорванной в клочья плоти или ткани. В обрывках этих не было мелодии, гармонии и ритма, удерживавших их воедино. Если музыка изображает эмоции, и притом эмоции, рожденные мыслью, то этот визг говорил

об иррациональной беспомощности, об отречении человека от самого себя.

Дагни шла вперед. Она остановилась возле окна книжного магазина. В витрине высилась пирамида кирпичей в коричневато-фиолетовых переплетах с надписью «*Коришун лияет*». «Роман столетия, – вещал рекламный плакат. – Исчерпывающее исследование природы жадности бизнесмена. Бесстрашное разоблачение порочности человека».

Она прошла мимо кинотеатра. За огнями его скрывалась половина квартала, а в воздухе пылало огромное фото с какими-то буквами. Снимок изображал улыбающуюся молодую женщину. При взгляде на нее немедленно становилось так тошно, словно ты видел ее много лет каждый день, а не впервые в жизни. Буквы гласили: «...в монументальной драме, дающей ответ на извечный вопрос: должна ли женщина признаваться в *этом*?»

Дагни прошла мимо дверей ночного клуба. Парочка нетвердым шагом подходила к такси. Девица озиралась мутными глазами. На ней было горностаевое манто и прекрасное вечернее платье, соскользнувшее с плеча подобно халату какой-нибудь домохозяйки и практически открывавшее грудь, что говорило не о смелой откровенности, а о пьяном безразличии. Спутник поддерживал ее под руку; и на лице его значилось отнюдь не предвкушение романтического приключения, а явно проступала шkodливая мина мальчишки, марающего забор непристойными словами.

«И что же ты рассчитываешь здесь увидеть?» – вопрошала себя Дагни, продолжая путь. Так жили рядом с ней люди, такую форму принимали их души, их культура, их развлечения. Сколько же лет она нигде не видела ничего другого?

Оказавшись на углу своей улицы, Дагни купила газету и повернула к дому.

Она занимала двухкомнатную квартиру на верхнем этаже небоскреба. Сходящиеся углом стекла окон гостиной превращали ее комнату в подобие движущегося корабля, преобразуя городские огни в фосфоресцирующие искорки на черных, сотканых из стали и камня волнах. Она включила лампу, и длинные треугольники света упали на голые стены; геометрический их узор нарушали лишь несколько угловатых предметов мебелировки.

Дагни остановилась посреди комнаты, одна между небом и городом.

Одна-единственная вещь приносила ей те ощущения, которые она хотела пережить сегодня; она знала одно-единственное развлечение.

Повернувшись к патефону, она поставила пластинку с записью музыки Ричарда Халлея.

Это был Четвертый концерт, последнее написанное им произведение. Гром и столкновение начальных аккордов вытеснили из памяти Дагни все, что видела она на улице.

Концерт можно было назвать криком великого возмущения. В нем слышалось «нет», сказанное какому-то чудовищному издевательству, отрицание страдания, звучащее посреди мучительной борьбы, стремления вырваться на свободу. Мелодия, словно человеческий голос, твердила: боль не является необходимым условием бытия, но почему же тогда худшая боль приберегается для тех, кто не признает ее неизбежности?.. К какой каре и кем приговорены мы, знающие тайну любви и радости?.. Звуки пытки превращались в ее отрицание, стон муки преображался в гимн далекому видению, ради которого можно было выстрадать все, даже это. Музыка пела песнь восстания и высокого поиска одновременно.

Она слушала, не шевелясь в кресле, закрыв глаза.

Никто не знал, что произошло с Ричардом Халлеем и почему. Повесть его жизни сделалась подобием назидательного рассказа, написанного, чтобы осудить величие, показав цену, которой оно достается. Повествование это говорило о чередe лет, прожитых

на чердаках и в подвалах, годах, проведенных среди стен столь же серых, сколь ярка была музыка заточенного среди них человека.

Серость эта говорила о борьбе с длинными неосвещенными лестничными пролетами, с замерзшими трубами, с ценой сэндвича в зловонной продовольственной лавке, с лицами людей, внимавших музыке пустыми глазами. Это была битва, не имевшая облегчения во всплеске насилия, не имевшая олицетворенного врага, когда можно колотить только глухую стену, сложенную из самого надежного звукоизолятора: безразличия, поглощавшего удары, аккорды и вопли, – битва безмолвная, затеянная человеком, способным сделать звуки более красноречивыми, чем это умели до него; битва, проходившая в тиши забвения, одиночества, испытанного вечерами, когда один из симфонических оркестров изредка исполнял какое-нибудь из его произведений; и Халлей вглядывался во тьму, сознавая, что это душа его трепещущими, неровными кругами радиоволн разлетается над городом во все стороны от передающей антенны, но нет приемников, настроенных на ее волну.

– Музыка Ричарда Халлея проникнута героикой. Наш век перерос подобную чепуху, – вещал один критик.

– Музыка Ричарда Халлея несовременна. В ней есть нотка восторга. Но кто сейчас испытывает восторг? – вторил ему другой.

Жизнь Халлея была подобна жизням прочих творцов, наградой которым становится памятник в городском парке, воздвигнутый по прошествии ста лет после того, как подобный знак внимания перестает интересоваться удостоенного такой награды, – однако Ричард Халлей не умер достаточно скоро для этого. И он дожил до того вечера, которого по принятым историей законам не должен был увидеть. Ему было сорок три года, шло первое представление *«Фаэтона»* – оперы, которую он написал в двадцать четыре года. Он перекроил древний греческий миф согласно собственному разумению и цели: Фаэтон, юный сын Гелиоса, укравший солнечную колесницу отца, чтобы в самоуверенном порыве провезти Солнце по небу, не погиб, как случилось в мифе; в опере Халлея Фаэтон добился желаемой цели. Опера эта была впервые поставлена девятнадцать лет назад и оглушительно провалилась после первого же представления, закончившегося свистом и негодующими воплями публики. В ту ночь Ричард Халлей до рассвета бродил по улицам города, пытаясь найти ответ на свой вопрос и не находя его.

После звуков, завершивших второе представление оперы, состоявшееся через девятнадцать лет после первого, разразилась такая овация, какой еще не слышали стены оперного театра. Древние стены не могли вместить эту бурю, звуки ее выплескивались в фойе, на лестницы, на улицы – к мальчишке, который брел по этой улице девятнадцать лет тому назад.

Дагни присутствовала на постановке в тот вечер триумфа. Она принадлежала к числу немногих, кто был уже знаком с музыкой Ричарда Халлея, но прежде не видела его. Она наблюдала, как его вытолкнули тогда на сцену, как стоял он перед массой ликующих рук и голов: неподвижный, высокий и худой человек с поседевшей головой. Он не кланялся, не улыбался; просто стоял и смотрел в толпу. На лице его застыл тихий и искренний вопрос недоумевающего человека.

– Музыка Ричарда Халлея, – писал на следующее утро критик, – принадлежит человечеству. Она создана величием народа и выражает его.

– Вдохновляющий пример, – говорил проповедник, – являет нам жизнь Ричарда Халлея. Он выдержал страшную битву, но какое это имеет значение? Как уместны, как благородны

перенесенные им от рук братьев своих страдания и несправедливости, огорчения и оскорбления, иначе он не сумел бы обогатить их жизнь и научить красоте великой музыки.

Через день после триумфа Ричард Халлей исчез.

Он не дал никаких объяснений. Он просто сообщил звукозаписывающей компании, что считает свою карьеру завершённой, продал им права за скромную сумму, прекрасно зная, что проценты от издания его сочинений могли принести ему целое состояние. А потом уехал, не оставив адреса. Это произошло восемь лет назад; с тех пор композитора не видел никто.

Дагни слушала Четвёртый концерт, запрокинув голову назад, закрыв глаза. Она откинулась на спинку дивана, расслабившись и отдыхая всем телом, однако чувственный, напряжённый рот полными желания линиями выделялся на неподвижном лице.

Спустя некоторое время Дагни открыла глаза, заметила газету, которую бросила на диван, и рассеянным движением потянулась к ней. Она хотела убрать с глаз долой пошлые передовицы. Газета выпала из ее руки, и Дагни увидела фотографию знакомого лица и заголовок над ним. Сложив газету, она отбросила ее в сторону.

Это было лицо Франсиско д'Анкония. Заголовок объявлял о его прибытии в Нью-Йорк. «Ну и что?» – подумала она. Ей необязательно встречаться с ним. Она не видела его уже много лет.

Дагни посмотрела на упавшую на пол газету. Не надо читать ее, подумала она, не надо даже смотреть на нее. Но лицо, отметила она, не переменилось.

Однако как могло остаться прежним лицо, когда все остальное ушло? Она пожалела, что на снимке он изображен улыбающимся. Такого рода улыбка не должна появляться на страницах газет. Этот человек умел видеть, понимать и создавать, прославляя жизнь. Насмешливая и вызывающая улыбка сверкала ослепительным интеллектом.

Не читай, посоветовала себе она, не сейчас – не под эту музыку – только не под эту музыку!

Протянув руку к газете, Дагни развернула ее.

Статья гласила, что сеньор Франсиско д'Анкония изволил дать интервью прессе в своем номере в отеле «Уэйн-Фолкленд». Он объяснил, что прибыл в Нью-Йорк по двум важным причинам: ради свидания с девушкой, назначенного в клубе, и чтобы отведать ливерной колбасы в «Деликатесах Моу» на Третьей авеню. Он отказался комментировать предстоящий бракоразводный процесс мистера и миссис Гилберт Вэйл. Миссис Вэйл, дама весьма благородного происхождения и наделенная необычайной красотой, несколько месяцев назад огорчила своего достойного молодого мужа, публично объявив, что намеревается оставить его ради любовника, Франсиско д'Анкония. Она предала гласности подробное описание их тайного романа, присовокупив к нему описание ночи под прошлый Новый год, проведенной ею на вилле д'Анкония в Андах. Муж ее пережил эту выходку, но подал на развод.

Миссис Вэйл отреагировала встречным иском на половину принадлежавших мужу миллионов и описанием его личной жизни, рядом с которой ее увлечения выглядели вполне невинно.

Тема эта несколько недель не сходила со страниц газет, однако сеньору д'Анкония было нечего сказать обо всем этом репортерам. Его спросили, готов ли он опровергнуть рассказ миссис Вэйл. Он ответил: «Я никогда и ничего не опровергаю».

Репортеры были изумлены его внезапным появлением в городе; они предполагали,

что он не захочет появляться в Нью-Йорке во время самого разгара скандала. Однако они ошиблись. Франсиско д'Анкония добавил еще одну причину своего появления.

– Я хочу быть свидетелем этого фарса, – сказал он.

Дагни уронила газету на пол. Она сидела, согнувшись, опустив голову на руки. Она не шевелилась, однако свисавшие на колени пряди волос время от времени вздрагивали.

Величественная музыка Халлея шествовала своим чередом, наполняя комнату, пронзая оконные стекла, вырываясь в город. Дагни впитывала звуки. В них воплощен был ее путь, ее слезы.

* * *

Джеймс Таггерт оглядел гостиную своих апартаментов, гадая, который час; ему не хотелось шевелиться, чтобы отыскать часы.

Он сидел в кресле, в мягкой пижаме, но с босыми ногами; искать шлепанцы было бы слишком хлопотно. Проливавшийся в окна свет пасмурного дня был неприятен для глаз, еще склеенных сном. Где-то внутри черепной коробки угадывалась противная тяжесть, явно собиравшаяся превратиться в головную боль. «Интересно, с чего бы это я оказался в гостиной, – подумал он. – Ах да, чтобы узнать время».

Согнувшись над подлокотником кресла, он посмотрел на часы на стене далекого здания: было уже двадцать минут первого.

За открытой дверью ванной было слышно, как Бетти Поуп чистит зубы. Пояс ее лежал на полу возле кресла вместе с прочей одеждой; пояс был блекло-розовый, с полопавшимися резинками.

– Поторопись, что ли? – раздраженным голосом буркнул он. – Мне надо одеться.

Бетти не ответила. Она оставила дверь ванной открытой; и теперь изнутри доносилось бульканье.

«Зачем мне все это нужно?» – подумал он, вспоминая вчерашнюю ночь. Однако докапываться до ответа было чересчур хлопотно.

Бетти Поуп вышла в гостиную, волоча за собой складки атласного пеньюара в оранжевую и фиолетовую клетку, подобающую арлекину. Пеньюар ей совсем не к лицу, отметил про себя Таггерт; костюм для верховой езды шел Бетти куда больше, если вспомнить фотоснимки в разделах светской хроники. Девушка была худощавая, и кости в разболтанных суставах двигались отнюдь не изящно.

К невзрачному лицу добавлялся нездоровый цвет кожи, однако держалась она с высокомерной снисходительностью, объяснявшейся принадлежностью к одной из самых лучших семей.

– Ах ты, черт! – проговорила она в пространство, потягиваясь. – Джим, а где у тебя маникюрные ножницы? Мне надо подрезать ногти на ногах.

– Не знаю. У меня болит голова. Отложи это дело до дома.

– Утром ты выглядишь совсем не аппетитно, – сказала она безразличным тоном. – Ты похож на слизняка.

– А тебе не хотелось бы заткнуться?

Девушка бесцельно бродила по комнате.

– Не хочу возвращаться домой, – проговорила она без особого чувства. – Ненавижу утро.

За ним начинается день, когда нечего делать. Днем я приглашена на чай к Лиз Блейн. Там может быть весело, Лиз – изрядная сучка.

Взяв бокал, Бетти допила остатки вина:

– И почему ты не распорядишься, чтобы починили кондиционер? Здесь воняет.

– Ты закончила свои дела в ванной? – спросил он. – Мне нужно одеться. Сегодня у меня важное деловое свидание.

– Входи. Мне все равно. Мы можем одеваться вместе. Ненавижу, когда меня торопят.

Бреясь, он посматривал на то, как она одевалась перед открытой дверью. Она долго, извиваясь, влезала в пояс, пристегивала подвязки к чулкам, натягивала нескладный, но дорогой твидовый костюм.

Арлекинский пеньюар, приобретенный по объявлению в самом шикарном модном магазине, напоминал мундир, предназначенный для известных обстоятельств, в который она при означенных обстоятельствах и облачалась, а потом снимала и забывала.

Схожей была и природа их отношений. В ней не было страсти, желания, подлинного удовольствия, даже стыда.

Для них обоих половой акт не был ни радостью, ни грехом. Он просто ничего не значил. Им было известно, что мужчины и женщины спят вместе, и они поступали согласно общему обычаю.

– Джим, а почему бы тебе не сводить меня сегодня в армянский ресторан? – спросила Бетти. – Мне нравится шашлык.

– Не могу, – ответил он сердитым тоном сквозь мыльную пену на лице. – У меня сегодня очень плотный график.

– Но ты ведь можешь отложить свои дела?

– Что?

– Какими бы они ни были.

– У меня сегодня *очень* важное дело, моя дорогая, заседание совета директоров.

– Ой, опять ты о своей железной дороге. Какая тоска! Ненавижу бизнесменов. Они такие скучные.

Таггерт не ответил.

Бетти посмотрела на него с лукавством и уже более оживленным тоном произнесла, растягивая слова:

– А Джон Бенсон говорил, что позиции твои на этой железной дороге не слишком прочны, потому что все дела ведет твоя сестра.

– Значит, так прямо и сказал?

– По-моему, твоя сестрица – жуткая особа. Я считаю, что это ужасно, когда женщина изображает из себя сразу смазчика вагонов и руководителя фирмы. Это настолько неженственно! За кого она себя принимает, скажи на милость?

Таггерт остановился на пороге. Припав виском к косяку двери, он пристально посмотрел на Бетти Поуп. На лице его играла легкая улыбка, саркастичная и уверенная. Кое-что общее, подумал он, у нас есть.

– Возможно, тебя заинтересует, моя дорогая, – проговорил он, – что сегодня я как раз устраиваю подкоп под собственную сестрицу.

– Ну да? – спросила она уже с интересом. – В самом деле?

– И поэтому предстоящее заседание имеет такое значение для меня.

– Ты намереваешься выставить ее из дела?

– Нет. Это не нужно и не целесообразно. Я просто хочу поставить ее на место. Мне представился случай, которого я давно ждал.

– У тебя есть что-то против нее? Пахнет скандалом?

– Нет, нет. Ты не понимаешь меня. Просто дело в том, что она зашла слишком далеко и должна схлопотать за это. Ни с кем не посоветовавшись, она учинила непростительную выходку. Нанесла серьезное оскорбление нашим мексиканским соседям. Когда об этом узнают все члены правления, им придется принять несколько новых правил, которые моей сестрице как руководительнице производственного отдела не удастся так легко обойти.

– Ты умница, Джим, – сказала она.

– А теперь я, наконец, оденусь. – В голосе Таггерта прозвучала довольная нотка. Повернувшись к раковине умывальника, он произнес бодрым тоном: – Так что мне, может быть, удастся вывезти тебя в ресторан, чтобы угостить шашлыком.

Зазвонил телефон.

Таггерт поднял трубку. Телефонистка сообщила, что его вызывают из Мехико-Сити.

Донесшийся из трубки голос принадлежал защитнику его политических интересов в Мексике.

– Джим, я ничего не мог сделать! – пробубльнул он. – Ничего вообще!.. Нас не предупредили, клянусь Богом, никто не подозревал, никто не предвидел ничего подобного, я сделал все, что мог, тебе не в чем обвинить меня, Джим, все обрушилось на нас как гром с ясного неба! Декрет вышел сегодня утром, буквально пять минут назад, без всякого предуведомления! Правительство Мексиканской Народной Республики национализировало рудники и железную дорогу Сан-Себастьян.

* * *

– ...посему я могу заверить джентльменов, членов правления в том, что повода для паники нет. Утреннее событие, бесспорно, следует признать прискорбным, но я могу сказать с полной уверенностью, основанной на имеющихся у меня сведениях о внешней политике Вашингтона, что наше правительство сумеет добиться взаимовыгодного договора с правительством Мексики и что мы получим полную и справедливую компенсацию за нашу собственность.

Стоя во главе длинного стола, Джеймс Таггерт обращался к совету директоров. Голос его, четкий и монотонный, был пропитан уверенностью в благоприятном исходе:

– Могу вас обрадовать, однако, тем, что я предвидел подобный оборот событий и предпринял все меры, чтобы защитить интересы «*Таггерт Трансконтинентал*». Несколько месяцев назад я дал указание производственному отделу нашей фирмы сократить число поездов на линии Сан-Себастьян до одного в день и снять с нее наши лучшие локомотивы и подвижной состав. Мексиканскому правительству удалось захватить только несколько деревянных вагонов и один дряхлый паровоз. Мое решение сохранило компании многие миллионы долларов – после точного подсчета цифры будут представлены вам. Тем не менее я полагаю, что наши пайщики вправе рассчитывать на то, что люди, несущие основную ответственность за это предприятие, примут на себя и последствия собственной халатности. Поэтому я предлагаю, чтобы мы потребовали отставки мистера Кларенса Эддингтона, нашего экономического консультанта, рекомендовавшего фирме соорудить ветку Сан-

Себастьян, и мистера Жюля Мотта, нашего представителя в Мехико-Сити.

Сидевшие за столом люди внимательно слушали его. Они думали не о том, что им придется сделать, но о том, что они будут говорить тем, чьи интересы представляют. Речь Таггерта вполне удовлетворяла их.

* * *

Когда Таггерт вернулся в свой кабинет, Оррен Бойль уже дожидался его. Как только они остались в одиночестве, самообладание оставило Таггерта. Он привалился к столу, плечи его поникли, лицо обмякло и побледнело.

– Ну? – спросил он.

Бойль беспомощно развел руками.

– Я все проверил, Джим, – проговорил он. – Все сходится; д’Анкония потерял на этих рудниках пятнадцать кровных миллионов. Никакой аферы там не было, все честно, он выложил свои деньги и потерял их.

– Ну и что же он теперь намеревается делать?

– Не знаю. И никто не знает.

– Но ведь он не собирается смириться с тем, что его ограбили, так ведь? Для этого он слишком умен. Должно быть, запасся каким-нибудь фокусом.

– Надеюсь на это.

– Д’Анкония сумел разгадать несколько комбинаций самых ловких на земле аферистов. Неужели же он смирится с декретом жалкой горстки политиканов-латинос? У него должна найтись какая-то управа на них; последнее слово останется за д’Анкония, и мы должны вовремя присоединиться к нему!

– Ну, это зависит от тебя, Джим. Ты же его друг.

– Ничего себе друг! Ненавижу его до мозга костей.

Таггерт нажал кнопку – вызвал секретаря. Тот вошел неуверенной походкой, с несчастным выражением лица. Это был молодой, не слишком, впрочем, человек, и на бескровном лице его оставили свой отпечаток благородное воспитание и не менее благородная бедность.

– Вы договорились о моей встрече с Франсиско д’Анкония? – резко осведомился Таггерт.

– Нет, сэр.

– Но, черт побери, я же велел вам связаться...

– Я не сумел этого сделать, сэр. Невзирая на все старания.

– Тогда попытайтесь еще раз.

– Я имею в виду, что не сумел договориться о встрече, мистер Таггерт.

– Почему же?

– Он отклонил ваше предложение.

– Вы хотите сказать, что он *отказался* встретиться со мной?

– Да, сэр, именно это я и хочу сказать.

– Он не захотел принять меня?

– Да, сэр, именно так.

– Вы разговаривали с ним лично?

– Нет, сэр, я говорил с его секретарем.

– И что же он сказал вам? Что именно он сказал?

Молодой человек молчал, лицо его сделалось еще более несчастным.

– Что он сказал?

– Он сказал, что сеньор д'Анкония назвал вас скучным человеком, мистер Таггерт.

* * *

Принятое ими предложение получило название *Правило против хищнической конкуренции*. Проголосовав за него, члены Национального железнодорожного альянса, стараясь не смотреть друг на друга, сидели в просторном зале, в окна которого втекал блеклый свет осенних сумерек.

Национальный железнодорожный альянс представлял собой, как было объявлено, организацию, предназначенную для защиты интересов железнодорожной промышленности. Цели этой надлежало добиваться путем разработки методов сотрудничества при продвижении к общей цели; добиваться путем согласия каждого члена альянса подчинять свои личные интересы интересам всей отрасли в целом; интересы же отрасли в целом следовало определять путем общего большинства при голосовании; каждый член альянса обязывался соблюдать любое решение, принятое большинством.

– Коллеги по профессии или по отрасли должны держаться вместе, – утверждали организаторы альянса. – У нас одни и те же проблемы, одни и те же интересы, одни и те же враги. Мы только понапрасну расходуем силы на борьбу друг с другом вместо того, чтобы единым фронтом выступить против всех, кто чинит нам препоны. Мы способны достичь совместного процветания, соединив свои усилия.

– Против кого организован этот альянс? – спрашивал скептик. И получал ответ:

– Ни против кого, в частности. Но если вы хотите поставить вопрос под таким углом, что ж: мы выступаем против грузоотправителей и производителей железнодорожного оборудования, которые пытаются обмануть нас. Против кого бывает направлен всякий союз?

– Именно это мне и хотелось узнать, – отвечал скептик.

Правило против хищнической конкуренции было впервые упомянуто публично на ежегодном общем собрании Национального железнодорожного альянса, членам которого предложили проголосовать за него. Тем не менее все они уже знали о нем заранее; *Правило* давно обсуждалось в приватной обстановке, причем особенно настоятельно в последние месяцы. Места в зале собрания занимали президенты железных дорог. *Правило против хищнической конкуренции* не нравилось им; они надеялись, что вопрос о его принятии не возникнет.

Однако когда *Правило* было поставлено на голосование, они проголосовали «за».

В речах, произнесенных перед голосованием, не было упомянуто ни одной из железнодорожных компаний. В них говорилось исключительно об общественном благе. Говорилось о том, что в то время, когда общественному благополучию угрожает недостаток транспорта, железные дороги губят друг друга, прибегая к самой злобной конкуренции, политике поедания собственного собрата. И если железнодорожное сообщение в некоторых регионах оказывалось прерванным, существовали целые крупные области, где две или более железнодорожные компании конкурировали в борьбе за объем перевозок, едва достаточный

для одной. Сказано было, что лишенные в данный момент железнодорожного транспорта регионы предоставляют огромные возможности компаниям, более молодым. И если в настоящий момент регионы эти не сулят никакого дохода, обеспечение транспортом претерпевающего многие трудности населения должно стать основной целью думающей об общественном благе компании, поскольку основной целью существования железной дороги является служба обществу, а не извлечение дохода.

Далее говорилось, что крупные и устоявшиеся железнодорожные сети имеют существенное значение для благосостояния общества, и что крах любой из них станет национальной катастрофой, и что если одной из них пришлось пережить сокрушительный удар при исполнении миссии международной доброй воли, то она нуждается в общественной поддержке, чтобы пережить последствия его.

Названия железных дорог не упоминались. Но когда председатель собрания поднял руку, давая тем самым торжественный сигнал к началу голосования, все посмотрели на Дэна Конвея, президента «Феникс-Дуранго».

Нашлось всего пятеро инакомыслящих, голосовавших против предложенной меры. Тем не менее когда председательствовавший объявил о том, что *Правило* принято, не было слышно ни приветственных возгласов, ни одобрительного ропота, не было заметно даже движения – в зале воцарилась тяжелая тишина.

Все собравшиеся до последней минуты надеялись на то, что нечто непредвиденное избавит их от нововведения.

Правило против хищнической конкуренции называлось мерой добровольного самоограничения, призванной укреплять законы, давно принятые властями страны. *Правило* запрещало членам Национального железнодорожного альянса заниматься так называемой разрушительной конкуренцией; в определенных регионах запрещалась деятельность более чем одной железнодорожной компании; в таковых регионах право перевозок принадлежало старейшей компании, а новые пришельцы, нечестным образом пробравшиеся на ее территорию, должны были прекратить там свои перевозки в течение девяти месяцев после получения соответствующего указания. Право определять районы, где будет действовать ограничение конкуренции, предоставлялось исключительно Исполнительному комитету Национального железнодорожного альянса.

После окончания собрания все поторопились разойтись. Не было ни дружеских бесед, ни групповых обсуждений. Большой зал опустел за непривычно короткое время. Никто не заговорил с Дэном Конвеем, никто не посмотрел даже в его сторону.

В вестибюле здания Джеймс Таггерт встретил Оррена Бойля. Они не договаривались о встрече, но Таггерт заметил очертания внушительной фигуры возле мраморной стены и узнал Бойля, еще не видя лица. Они пошли навстречу друг другу, и Бойль произнес с не столь утешительной, как обычно, улыбкой:

- Я сделал свое дело. Теперь твоя очередь, Джимми.
- Мог бы и не являться сюда. Зачем ты здесь? – угрюмо буркнул Таггерт.
- О, просто развлечения ради, – ответил Бойль.

Дэн Конвей в одиночестве сидел в опустевшем зале. Он не покинул своего места, пока не явилась уборщица. Когда она окликнула его, он покорно поднялся и побрел к выходу. Проходя мимо женщины, он запустил руку в карман и сунул ей пятидолларовую бумажку, молча, послушно, не глядя в лицо. Он как будто не понимал, что делает; он действовал так, как если бы полагал, что находится в таком месте, покинуть которое можно, только оставив

чаевые.

Дагни все еще сидела за столом, когда дверь ее кабинета распахнулась, и внутрь влетел Джеймс Таггерт. Подобным образом он входил к ней впервые. Лицо его горело как в лихорадке.

Дагни еще не видела брата после национализации линии Сан-Себастьян. Он не пытался обсуждать с ней этот вопрос, и она не считала нужным что-то добавлять. Жизнь столь красноречиво продемонстрировала ее правоту, считала она, что всякие комментарии излишни. Отчасти любезность, отчасти милосердие помешали ей изложить брату то заключение, которое непосредственно следовало из событий. Во всяком случае, по справедливости он может теперь сделать один-единственный вывод. Ей рассказали о речи, произнесенной им на совете директоров. Она лишь пожала плечами с пренебрежительным недоумением: если по каким-то причинам он считал себя вправе присваивать ее достижения, значит, во всяком случае, не будет мешать ей продвигаться дальше.

– И ты по-прежнему считаешь, что только сама трудишься на благо нашей железной дороги?

Дагни с удивлением поглядела на брата. Голос его сделался пронзительным; он стоял перед ее столом, напрягшись, как струна.

– И ты по-прежнему считаешь, что я погубил компанию, так ведь? – выкрикнул он. – И думаешь, что только ты одна способна спасти нас? Считаешь, что я не найду способа компенсировать мексиканскую потерю?

Она неторопливо произнесла:

– Что тебе нужно от меня?

– Я хочу рассказать тебе кое-какие новости. Помнишь *Правило против хищнической конкуренции*, предложенное Железнодорожным альянсом, о котором я рассказывал тебе несколько месяцев назад? Тебе не понравилась эта идея. Совсем не понравилась.

– Помню. Ну и что?

– Оно принято.

– Что принято?

– *Правило против хищнической конкуренции*. Всего несколько минут назад. На собрании. И через девять месяцев никакой компании «Феникс-Дуранго» в Колорадо не будет!

Дагни вскочила, пепельница, упавшая на пол, со звоном разбилась:

– Ах вы, грязные ублюдки!

Таггерт не шевельнулся. По лицу его расплывалась улыбка.

Дагни понимала, что ее трясет, что сейчас она открыта перед братом и беззащитна, что ее состояние приносит ему радость, но это ничего не значило для нее. А потом она вдруг заметила эту улыбку – и удушающий гнев вдруг отступил. Она более ничего не чувствовала. И принялась изучать эту улыбку с холодным и бесстрастным любопытством.

Они стояли лицом друг к другу. По внешнему виду Джеймса можно было понять, что он впервые не испытывает страха перед ней. Он торжествовал. Событие это означало для него нечто большее, чем победа над конкурентом. И конкурентом этим был не Дэн Конвей, а она сама. Она не понимала, как это может быть и почему, но не сомневалась в том, что брат знал об этом.

В мгновенном озарении ей показалось, что здесь, перед ней, в Джеймсе Таггерте

и в том, что заставляло его улыбаться, таился крайне важный секрет, о существовании которого она и не подозревала, но теперь должна понять его буквально любой ценой. Однако мысль эта промелькнула и исчезла.

Метнувшись к дверце шкафа, она схватила пальто.

— Куда ты? — голос Таггерта сделался глуше; в нем звучали разочарование и легкое беспокойство.

Не отвечая, Дагни вылетела из кабинета.

* * *

— Дэн, вы должны сопротивляться. Я помогу вам. Я буду сражаться за вас изо всех своих сил.

Дэн Конвей покачал головой.

Он сидел за столом, уставившись на пустую папку для бумаг, слабая лампа горела в углу кабинета. Дагни немедленно отправилась в городское управление «Феникс-Дуранго». Конвей оказался на месте и даже не изменил позы, когда она вошла в его кабинет. Увидев Дагни, он улыбнулся и сказал тихим, безжизненным голосом:

— Забавно, я так и думал, что вы придете.

Они не были достаточно близко знакомы, однако несколько раз встречались в Колорадо.

— Только, — сказал он, — это бесполезно.

— Вы имеете в виду подписанное альянсом соглашение? Оно незаконно. Его не одобрит ни один суд. И если Джим попытается укрыться за любимым у грабителей лозунгом «общественного блага», я встану и присягну в том, что компания «*Таггерт Трансконтинентал*» не способна обеспечить все перевозки из Колорадо. И если любой суд вынесет решение против вас, вы можете оспорить его и подавать апелляции еще десять лет.

— Да, — согласился он, — могу... нельзя испытывать уверенности в победе, однако я могу попытаться и сохранить свою железную дорогу еще на несколько лет, однако... однако я думаю сейчас не о том, к каким законам прибегнуть. Дело не в этом.

— А в чем же тогда?

— Я не хочу бороться, Дагни.

Она посмотрела на него, не веря своим ушам. Можно было не сомневаться в том, что подобные слова еще не слетали с его губ; в таком возрасте человек уже не может переделать себя.

Дэну Конвею было под пятьдесят. Квадратное, бесстрастное и упрямое лицо, скорее, подобало мастеру, ведающему непосредственно погрузкой и разгрузкой, а не президенту компании; это было лицо бойца, еще молодое и загорелое под седеющей шевелюрой. Взяв под свой контроль ветхую железнодорожную линию в Аризоне, доход от которой не превышал суммы, приносимой хорошей бакалейной лавкой, он превратил ее в лучшую линию на всем Юго-Западе. Он говорил мало, редко читал книги, никогда не учился в колледже. И вся область человеческой деятельности за одним-единственным исключением откровенно не интересовала его; он не имел абсолютно никакого понятия о том, что люди называют культурой, однако знал толк в железных дорогах.

— Почему же вы не хотите бороться?

— Потому что у них есть право так поступать.

– Дэн, – спросила Дагни, – да в своем ли вы уме?

– Я ни разу в жизни не нарушал своего слова, – проговорил он бесцветным голосом. – И мне безразлично, какое решение примет суд. Я обещал повиноваться большинству. И должен сдержать слово.

– Разве вы не ожидали, что большинство обойдется с вами именно так?

– Нет. – Бесстрастное лицо Конвея передернула легкая судорога. Он говорил негромко, не глядя на нее, еще не пережив случившееся. – Нет, этого я не ожидал. Я знал, что об этом правиле поговаривали уже около года, но не верил в то, что его примут. Не верил даже во время голосования.

– Чего же вы ожидали?

– Я думал... там говорили, что все мы должны трудиться на благо общества. И я полагал, что тружусь ради этого блага в Колорадо, так что всем вокруг хорошо.

– О какой же вы дурак! Разве вы не понимаете, что за это вас и наказывают – за то, что вы работали так хорошо?

Он покачал головой и проговорил:

– Ничего не понимаю. И не вижу, как выйти из положения.

– Но разве вы давали кому-то обещание погубить себя собственными руками?

– Похоже, что у всех нас теперь не остается никакого выбора.

– Что вы имеет в виду?

– То жуткое состояние, Дагни, в которое пришел теперь весь мир. Я не знаю, что именно произошло с ним, однако дела плохи, очень плохи. Людям нужно собраться вместе и найти выход из положения. Но кто еще может решить, каким нам следовать путем, если не большинство? По-моему, это единственно честный метод решения проблемы, другого я просто не вижу. На мой взгляд, кого-то придется принести в жертву. И если эта участь выпала мне, отказываться я не смею. Право на их стороне. Людям приходится держаться вместе.

Дагни попыталась говорить спокойно, гнев сотрясал ее.

– Если такую цену надо платить за совместное проживание, то черт меня побери, если я захочу жить на одной земле с такими людьми! Если все они могут выжить, только расправившись с нами, зачем нам желать, чтобы они уцелели? Ничто не может служить оправданием для принесения в жертву себя самого. Ничто не может дать им права превратить человека в жертвенное животное. Ничто не может оправдать уничтожение лучших. Нельзя наказывать человека за то, что он так хорош. Нельзя наказывать за способности. И если можно посчитать это справедливым, тогда уж лучше сразу начать уничтожать друг друга, поскольку в мире более не останется никакого права!

Конвей не отвечал. Он только смотрел на нее беспомощными глазами.

– Если мир действительно таков, как можно жить в нем? – спросила она.

– Не знаю... – прошептал он.

– Дэн, неужели, по-вашему, это действительно справедливо? Скажите откровенно, от самого сердца, неужели вы считаете это правильным?

Конвей закрыл глаза.

– Нет, – проговорил он. А потом поглядел на нее, и Дагни впервые заметила, что взгляд его полон боли. – Именно это я и пытаюсь постичь, сидя здесь. Я понимаю, что должен считать такое решение правильным, только язык мой не повернется сказать такое. Я вижу каждую шпалу, каждый семафор, каждый мост, помню каждую ночь, которую провел,

когда...

Он уронил голову на руки:

– О боже, насколько же это несправедливо!

– Дэн, – проговорила она сквозь зубы, – сопротивляйтесь.

Конвей поднял голову и посмотрел на нее пустыми глазами.

– Нет, – проговорил он, – это неправильно. Я просто эгоистичен.

– Ах, эта тухлая чушь! Вы же знаете, что это не так!

– Не знаю... – Голос его был полон усталости. – Я сижу здесь, пытаюсь что-то понять...

И более не знаю, что справедливо, а что нет...

Он добавил:

– Не думаю, чтобы это было мне интересно.

Дагни вдруг поняла, что все слова теперь бесполезны и что Дэн Конвей никогда более не станет человеком дела. Она не знала, что именно заставляет ее думать так, и с недоумением произнесла:

– Но вы еще никогда не сдавались без боя.

– Да, не сдавался... – В голосе его звучала тихая и полная безразличия горечь. – Я сражался с бурями, наводнениями, горными обвалами и трещинами в рельсах... Там я знал, что нужно делать, и мне нравилось бороться. Но такого рода сражение... В таком бою мне победить не удастся.

– Почему?

– Не знаю. Кто может сказать, почему мир таков, каков есть? И вообще, кто такой Джон Голт?

Она вздрогнула:

– Тогда что же вы собираетесь делать?

– Не знаю...

– То есть... – она умолкла.

Конвей понял, что она хочет сказать.

– Ну, дело для меня всегда найдется...

В голосе его не было уверенности.

– Насколько я понимаю, закрыть для конкуренции собираются только Колорадо и Нью-Мексико. У меня остается еще линия в Аризоне... как и двадцать лет назад, – добавил он. – Мне будет, чем заняться. Я начинаю уставать, Дагни. У меня не было времени замечать это, однако я устал, можешь мне поверить.

Ей нечего было сказать.

– Я не намереваюсь строить новую линию через пришедший в упадок регион, – проговорил он прежним безразличным тоном. – Они хотели вручить мне такой вот утешительный приз, но я думаю, это всего лишь пустые разговоры. Зачем строить железную дорогу там, где на целую сотню миль найдется разве что пара фермеров, не способных даже прокормить себя самих. Нельзя построить дорогу и заставить ее окупиться. Но если ты не можешь этого добиться, кто сделает это за тебя? С моей точки зрения, это бессмыслица. Они сами не знают, что говорят.

– Да к чертям их упадочные районы! Я думаю о вас. – Она должна была это сказать. – Что вы будете делать с самим собой?

– Не знаю... есть целая уйма вещей, на которые у меня не находилось времени. Например, на рыбную ловлю. Мне всегда нравилось ловить рыбу. Может быть, начну читать

книги, всегда хотел. Ничего, выживу. Наконец-то займусь рыбной ловлей. В Аризоне есть несколько прекрасных местечек, где тишина, покой и на мили и мили вокруг не встретишь ни одного человека...

Посмотрев на нее, он добавил:

– Забудем об этом. Зачем вам беспокоиться обо мне?

– Дело не в вас, просто... Дэн, – сказала она вдруг, – надеюсь, вы понимаете, что я хотела помочь вам сражаться не ради вас.

Он улыбнулся; улыбка получилась слабой и дружелюбной:

– Понимаю.

– Я руководствовалась не жалостью, благотворительностью или другой подобной им чепухой. Видите ли, я намеревалась дать вам в Колорадо бой не на жизнь, а на смерть. Я собиралась вклиниться в ваш бизнес, прижать к стенке, выставить с линии, если бы это оказалось необходимым.

Он с пониманием слабо усмехнулся:

– Вам пришлось бы хорошенько потрудиться.

– Только я не думаю, чтобы это было необходимо. По-моему, там хватило бы места для нас обоих.

– Да, – согласился он. – Хватило бы.

– Тем не менее, если бы это оказалось не так, я бы вступила с вами в борьбу и, если бы сумела сделать свою дорогу привлекательнее вашей, сломала бы вас, нимало не задумываясь о том, какая участь вас ожидает. Но чтобы так... Дэн, не думаю, чтобы мне захотелось сейчас видеть нашу линию Рио-Норте. Я... Боже мой, Дэн, я не хочу оказаться грабителем!

Конвей молча посмотрел на нее странным, словно бы отстраненным взглядом и негромко проговорил:

– Девочка моя, вам следовало бы родиться лет сто назад. Тогда вы получили бы свой шанс.

– К черту. Я намереваюсь собственными руками создать свой шанс.

– Именно этого хотел и я в вашем возрасте.

– Но вы добились своего.

– Разве?

Она замерла на месте, почувствовав вдруг убийственную апатию.

Конвей распрямился и резким тоном проговорил, словно бы отдавая распоряжения:

– Займитесь лучше своей линией Рио-Норте и поторопитесь. Подготовьте ее к эксплуатации, потому что если вы этого не сделаете, придет конец Эллису Уайэтту и всем остальным, а лучше их людей в стране нет. Этого нельзя допустить, и вся ответственность теперь ложится на ваши плечи. Незачем даже пытаться объяснить вашему брату, что теперь вам придется сложнее, чем когда я мог составить вам конкуренцию. Но мы с вами это понимаем. Поэтому беритесь за дело. Что бы вы ни сделали, грабительницей вы не окажетесь. Ни один вор не сумеет эксплуатировать железную дорогу в этой части страны. Что бы вы там ни сделали, вы заслужили эту работу. А блохи, подобные вашему брату, не в счет. Теперь все зависит от вас.

Дагни смотрела на него, не понимая, что именно сокрушило человека такого масштаба; она могла только уверенно сказать, что не Джеймс Таггерт.

Она заметила на себе взгляд Конвея, полный невысказанного вопроса. Потом он улыбнулся, и, не веря себе самой, она заметила в этой улыбке печаль и жалость.

– Только не надо жалеть меня, – сказал он. – Мне кажется, что из нас двоих вас ожидает более тяжелое время. И я думаю, вам удастся преодолеть его с куда большими потерями, чем мне.

* * *

В тот же день она позвонила на завод и договорилась о встрече с Хэнком Риарденом. Дагни только что положила трубку и согнулась над разложенными на ее столе картами линии Рио-Норте, когда дверь в кабинет открылась. Она с удивлением подняла глаза: дверь в ее кабинет обыкновенно не открывали без предупреждения.

В двери появился незнакомец, молодой, высокий и отчасти даже опасный, хотя чем именно, сказать она не могла, потому что в этом человеке сразу же бросалось в глаза граничащее с надменностью умение владеть собой. Темноглазый и лохматый, он носил дорогой костюм, но так, словно бы не замечал или не придавал значения своему облику.

– Эллис Уайэтт, – представился он.

Дагни невольно вскочила на ноги. Теперь она поняла, почему его не задержали – да и не могли задержать – в приемной.

– Присаживайтесь, мистер Уайэтт, – проговорила она с вежливой улыбкой.

– Это излишне, – он не улыбнулся в ответ. – Я не веду продолжительных переговоров.

Нарочито медленно она опустилась в кресло и откинулась назад, не сводя с вошедшего взгляда.

– Итак? – спросила она.

– Я пришел к вам, потому что, насколько я понимаю, в этой гнилой конторе кроме вас не найдется ни одного наделенного мозгами человека.

– Что я могу сделать для вас?

– Выслушать ультиматум, – произнес он, четко выговаривая каждый слог. – Я рассчитываю на то, что через девять месяцев «*Таггерт Трансконтинентал*» начнет работать в Колорадо так, как этого требует мой бизнес. Если та жульническая афера, которую ваши люди провернули с «*Феникс-Дуранго*», была предпринята ради того, чтобы избавить себя от необходимости работать, я хочу вас известить о том, что со мной этот фокус не пройдет. Я не стал заваливать вас претензиями, когда вы не смогли обслужить меня так, как мне необходимо. Я нашел человека, который смог это сделать. Теперь вы пытаетесь заставить меня иметь дело с вами. Вы рассчитываете диктовать, не оставив мне другого выхода. Вы рассчитываете, что я снижу свою деловую активность в соответствии с присущим вам уровнем некомпетентности. И я хочу сказать, что такие надежды напрасны.

Она неторопливо, с усилием проговорила:

– Не хотите ли вы услышать от меня, что я намереваюсь сделать с нашей линией в Колорадо?

– Нет. Намерения и обсуждения меня не интересуют. Мне нужны перевозки. Что вы будете делать для их обеспечения и как вы будете производить их – дело ваше. Я просто предупреждаю вас. Те, кто хотят иметь дело со мной, будут работать на моих условиях и только. Я не договариваюсь с бестолочами. Если вы надеетесь заработать на перевозке моей нефти, то должны разбираться в своем деле не хуже, чем я в своем. Это понятно?

Дагни негромко ответила:

– Я понимаю вас.

– Я не стану тратить свое время на доказательства, вам следует и без них воспринять мой ультиматум серьезно. Если у вас хватает интеллекта поддерживать в работоспособном состоянии эту прогнившую организацию, вы вполне способны это понять. Вы не хуже меня понимаете, что если «*Таггерт Трансконтинентал*» будет обслуживать свою линию в Колорадо так, как вы это делали пять лет назад, то я разорен. И я знаю, что именно этого вы и добиваетесь. Вы намереваетесь, насколько это будет возможно, кормиться за мой счет, а после, когда прикончите меня, подыскать еще кого-нибудь. Такой линии придерживается бо́льшая часть нынешнего человечества. Итак, вот мой ультиматум: теперь вы получили возможность разорить меня, быть может, мне придется уйти; но если это случится, знайте: я заберу всех вас с собой.

В глубине души Дагни, под немотой, удерживавшей ее на месте под ударами этого кнута, таилась острая боль, жгучая боль, подобная боли от ожога. Ей хотелось рассказать этому человеку о годах, потраченных ею на поиски людей, с которыми можно было бы работать так, как с ним; ей хотелось рассказать ему, что его враги являются и ее врагами, что она ведет ту же битву. Ей хотелось выкрикнуть: «Я не такая, как они!» Однако она понимала, что не вправе поступить так. На ней лежала ответственность за «*Таггерт Трансконтинентал*» и за все, что совершалось от имени компании, – у нее не было права на оправдания.

Сидя прямо, глядя ему в глаза, она ответила ровным тоном:

– Вы получите нужный вам объем перевозок, мистер Уайэтт.

По лицу его пробежало легкое удивление: такого прямого ответа он не ожидал. Быть может, его удивило не то, что она сказала, а то, что она не стала искать оправданий и извинений. Какое-то мгновение Уайэтт молча изучал ее. А потом проговорил уже не столь резким тоном:

– Хорошо. Благодарю вас. До свидания.

Дагни наклонила голову. Ответив ей легким поклоном, Уайэтт покинул кабинет.

* * *

– Такие вот дела, Хэнк. Я разработала почти невероятный план завершения реконструкции линии Рио-Норте за двенадцать месяцев. Теперь мне придется сделать это за девять месяцев. Вы должны были поставить нам рельсы за год. Можете ли вы справиться за девять месяцев? Если это в человеческих силах, сделайте. Если же нет, мне придется найти другой способ решения задачи.

Риарден сидел за столом. Холодные глаза синими горизонтальными щелями прорезали вытянутые плоскости его лица; они остались столь же полузакрытыми и бесстрастными, когда он произнес без какого-либо ударения: «Я сделаю это».

Дагни откинулась на спинку кресла. Короткая фраза несла в себе потрясение. У нее словно камень с души свалился: не нужно никаких дополнительных гарантий, доказательств, вопросов, объяснений; решение сложной проблемы вполне умещалось в нескольких слогах, произнесенных мужчиной, знающим цену своему слову.

– Не надо обнаруживать свое облегчение, – он усмехнулся. – Во всяком случае, так открыто. – Узкие глаза следили за ней сквозь непроницаемую улыбку: – А то я могу

подумать, что *«Таггерт Трансконтинентал»* находится в моей власти.

– Вам это и так известно.

– Известно. И я намереваюсь заставить вас заплатить за это.

– Ясное дело. Сколько же?

– Дополнительные двадцать долларов с каждой тонны, поставленной после сегодняшнего дня.

– Крутовато, Хэнк. А скидку предоставить не можете?

– Нет. И я получу то, что прошу. Ведь я мог бы запросить в два раза больше и добиться своего.

– Да, и я заплатила бы. И вы могли бы запросить столько. Но вы этого не сделаете.

– Почему же?

– Потому что вам нужно, чтобы линию Рио-Норте построили. Она послужит рекламой вашему риарден-металлу.

Тот усмехнулся:

– Вы правы. Мне нравится иметь дело с человеком, который не просит себе льгот.

– А знаете, что заставило меня ощутить облегчение, когда вы решили воспользоваться своим преимуществом?

– Что же?

– То, что я имею дело с человеком, который не станет предоставлять льготы.

Улыбка его теперь обрела более конкретный характер: она сделалась веселой:

– И вы всегда играете в открытую, не так ли?

– Я еще не замечала, чтобы вы поступали иначе.

– Мне казалось, что лишь я один могу позволить себе это.

– В этом смысле я еще не настолько обеднела, Хэнк.

– Полагаю, что однажды я сумею разорить вас.

– Почему?

– Мне всегда хотелось это сделать.

– Разве вокруг вас недостаточно тру`сов?

– Эта мысль мне потому так и приятна, что вы являетесь единственным исключением.

Итак, вы считаете справедливым мое желание выжать всю возможную прибыль из вашего затруднительного положения?

– Конечно. Я не дура. И не считаю, что вы занимаетесь своим делом исключительно ради меня.

– А вам хотелось бы, чтобы дело обстояло так?

– Я не попрошайка, Хэнк.

– А вам не будет, хм... затруднительно заплатить подобную сумму?

– Это уже моя проблема, а не ваша. Мне нужны эти рельсы.

– При двадцати лишних долларах за тонну?

– Идет, Хэнк.

– Отлично. Вы получите рельсы. А я могу получить свою сверхприбыль, если только *«Таггерт Трансконтинентал»* не лопнет прежде, чем вы переведете мне деньги.

Дагни ответила без улыбки:

– Если я не сумею завершить перестройку линии за девять месяцев, *«Таггерт Трансконтинентал»* разорится.

– Не разорится, пока у руля остаетесь вы.

Он не улыбнулся, и лицо его осталось бесстрастным, живыми казались только глаза, в которых сверкала холодная, алмазная чистота *восприятия*. Однако какие именно чувства рождали в нем *воспринятые* им вещи, знать не было дано никому, может быть, и ему самому, подумала она.

— Они постарались по возможности осложнить вашу задачу, не так ли? — спросил он.

— Да, я рассчитывала на Колорадо, чтобы спасти всю сеть компании «*Таггерт*». А теперь я должна спасать Колорадо. Через девять месяцев Дэн Конвей закроет свою дорогу. Если моя не окажется готовой к этому времени, достраивать ее не будет никакого смысла. Этих людей нельзя оставить без транспорта ни на один день, не говоря уже о неделе или месяце. При скорости их роста эту компанию нельзя остановить, а потом предположить, что они сумеют продолжить дело. Это все равно как рвануть все тормоза на тепловозе, едущем со скоростью двести миль в час.

— Понятно.

— Я могу управлять хорошей дорогой. Но я не могу провести ее по континенту, заполненному издолщиками, у которых не хватает ума вырастить себе достаточно репы. Мне нужны люди, подобные Эллису Уайэтту, которые производят то, чем можно загрузить мои поезда. И потому я обязана через девять месяцев предоставить ему поезда и колею, даже если для этого мне придется положить под рельсы всех нас!

Он не без удивления улыбнулся:

— А вы настроены весьма решительно, не так ли?

— А вы?

Риарден не ответил, однако улыбка не исчезла с его лица.

— А вас это не волнует? — спросила она едва ли не с гневом.

— Нет.

— Неужели вы не понимаете, что это будет означать?

— Я понимаю, что должен прокатать рельсы, а вы должны положить их в колею за девять месяцев.

Она улыбнулась — с легкой усталостью и ощущением доли собственной вины:

— Да. Мы сделаем это. Я понимаю, что бесполезно сердиться на таких людей, как Джим и его приятели. На это у нас нет времени. В первую очередь я должна ликвидировать плоды их стараний. А потом... — она смолкла, задумалась, тряхнула головой и пожала плечами, — ... а потом они не будут иметь никакого значения.

— Правильно. Не будут. Когда я слышал об этом собачьем правиле, меня чуть не стошнило. Однако эти сукины дети не достойны внимания.

Последнее предложение прозвучало особенно эмоционально, хотя лицо его и голос оставались спокойными.

— Мы с вами всегда останемся на своем месте и сумеем спасти страну от любых последствий их деятельности, — поднявшись с места, он принялся расхаживать по кабинету. — Развитие Колорадо нельзя останавливать. Вы должны вытянуть этот штат. Тогда вернется Дэн Конвей, а с ним и остальные. Все это безумие имеет временный характер. Оно не может затянуться надолго. Тот, у кого нет ума, терпит поражение от собственных рук. Просто нам с вами придется чуточку усерднее поработать, только и всего.

Дагни следила за его высокой фигурой, расхаживавшей по кабинету. Обстановка была ему под стать: лишь необходимая для дела мебель, до предела деловая в своем

предназначении, и чрезвычайно дорогая с точки зрения материалов и искусной конструкции.

Комната эта напоминала мотор, уместившийся в стеклянной коробке широких окон. Удивляла одна только деталь: резная ваза из яшмы, стоявшая наверху шкафа с папками дел. Простые поверхности темно-зеленого камня, плавные изгибы слоев рождали непреодолимое желание потрогать вазу. И рождаемая этим чувственность явно шла в разрез со строгостью прочей обстановки.

— Колорадо — великий край, — заметил Риарден. — Скоро он станет лучшим в стране. Вы еще не поняли, что его процветание заботит меня? Этот штат становится в один ряд с самыми крупными моими покупателями, о чем вы можете узнать, ознакомившись с отчетами о грузоперевозках.

— Мне это известно. Я читала их.

— Я подумываю о том, что через несколько лет можно будет построить там завод, чтобы избавиться от расходов на транспортировку, — он искоса поглядел на нее: — В таком случае вы потеряете внушительную долю заказов на перевозку стали.

— Действуйте. Мне хватит перевозок сырья, товаров для ваших рабочих, продукции тех фабрик, которые последуют туда за вами... Возможно, я даже не успею заметить, что мне не нужно возить вашу сталь... Почему вы смеетесь?

— Это чудесно.

— Что чудесно?

— То, что вы реагируете на мои слова не так, как это принято сегодня.

— И все же я вынуждена признать, что в настоящее время вы являетесь наиболее важным и крупным клиентом *«Таггерт Трансконтинентал»*.

— Неужели вы думаете, что мне это неизвестно?

— И поэтому я не могу понять, почему Джим... — Дагни умолкла.

— ...изо всех сил старается навредить мне? Потому что он глуп.

— Это так. Но дело не только в этом. За его поведением кроется нечто большее, чем простая глупость.

— Не надо тратить времени понапрасну, пытаюсь разгадать это. Пусть себе злопыхательствует. Он никому не опасен. Такие люди, как Джим Таггерт, — всего лишь сор на улицах этого мира.

— Увы, да.

— Кстати, что бы вы сделали, если бы я сказал, что не смогу поставить вам рельсы раньше срока?

— Я разобрала бы запасные пути или закрыла бы какую-нибудь ветку и использовала бы рельсы для того, чтобы вовремя завершить линию Рио-Норте.

Риарден усмехнулся:

— Вот поэтому-то участь *«Таггерт Трансконтинентал»* не беспокоит меня. Однако вам не придется разбирать на рельсы запасные пути. Пока я еще не оставил свое дело.

Дагни вдруг подумала, что лицо Риардена напрасно показалось ей бесстрастным: пожалуй, это было лишь манерой скрывать удовольствие. Она вдруг поняла, что всегда ощущала в его присутствии свободу и легкость, и что он разделял это чувство. Среди всех своих знакомых только с этим мужчиной она могла говорить непринужденно, без напряжения. В нем она видела достойный уважения ум и соперника, с которым стоило считаться. Тем не менее их всегда разделяло некоторое расстояние, закрытая дверь; Риарден неизменно держался отстраненно, она не могла приблизиться к нему.

Остановившись возле окна, он на мгновение посмотрел наружу.

– А вы знаете, что сегодня мы отгружаем вам первую партию рельсов? – спросил он.

– Конечно, знаю.

– Подойдите сюда.

Она приблизилась к нему. Риарден молча указал на далекую цепочку платформ, ожидавшую на железнодорожном пути.

Небо над вагонами перерезал мостовой кран. Он двигался. Огромным магнитом он удерживал груз – рельсы. Сквозь серое небо не пробивалось и лучика солнца, однако рельсы блестели, словно металл впитывал свет из пространства. Они казались зеленовато-синими. Толстенная цепь остановилась над вагоном и коротко дернулась, освободив рельсы. Кран с величественным безразличием пополз назад, напоминая собой огромный чертеж геометрической теоремы, движущийся над людьми и землей.

Стоя возле окна, они наблюдали безмолвно и внимательно. Дагни молчала до тех пор, пока новая партия сине-зеленого металла не поползла по небу. И потом только проговорила – не о рельсах, будущей колее или завершенных вовремя поставках. Слова эти прозвучали приветствием нового явления природы:

– Риарден-металл...

Он это заметил, но ничего не сказал. Поглядев на нее, Риарден вновь отвернулся к окну.

– Хэнк, это великое дело.

– Да, – согласился он, открыто и просто. В голосе его не было ни удовлетворенного самолюбия, ни скромности. И в этом, понимала она, состоял его долг перед ней, редчайшее право среди тех, что выпадает на долю человека: право признать собственное величие, зная, что тебя поймут правильно.

Дагни произнесла:

– Когда я думаю о том, на что способен этот металл, как много можно будет сделать с его помощью... Хэнк, мы видим сейчас самое важное из всего происходящего сегодня в мире, и никто этого не знает.

– Это известно нам.

Они не смотрели друг на друга. Оба молча следили за краном. Спереди на далеком тепловозе она могла различить две буквы: *ТТ*. Под ними находились пути самой загруженной из промышленных веток сети компании «Таггерт».

– Как только я найду завод, способный на выполнение такого задания, – проговорила она, – я закажу там дизеля из риарден-металла.

– Вам они потребуются. Как быстро ходят ваши поезда на линии Рио-Норте?

– Сейчас? Мы считаем удачей, когда им удастся выжать двадцать миль в час.

Риарден показал на рельсы:

– Когда они лягут в колею, при желании вы сможете пускать поезда со скоростью двести пятьдесят миль в час.

– Так и будет через несколько лет, когда мы получим вагоны из риарден-металла, в два раза более легкие и прочные, чем стальные.

– Вам нужно будет заняться и авиацией. Мы работаем над самолетом из риарден-металла. Машина будет практически невесомой и сможет поднять все, что угодно. Впереди – время дальних грузовых воздушных перевозок.

– Я думаю о том, чем станет этот металл для двигателей, любых двигателей, и что можно сделать из него уже сейчас.

– А вы не думали, какую сетку для оград можно будет из него делать? Простейший забор из риарден-металла обойдется в несколько центов за миллю и простоит две сотни лет. И еще про кухонную утварь, которую можно будет купить в грошовой лавчонке и передавать из поколения в поколение. И про океанские лайнеры, на которых ни одна торпеда не оставит даже вмятины.

– А я не рассказывал про эксперименты с проводными сетями из моего металла? Я провожу столько испытаний, что мне никак не удастся исчерпывающим образом показать людям, что и как можно сделать из него.

Они разговаривали о металле и его неистощимых возможностях. Казалось, оба они стояли на вершине горы, от которой во все стороны по беспредельной равнине разбегались пути. Однако речь шла только о цифрах: весах, давлениях, сопротивлении, ценах.

Дагни забыла и о своем брате, и о его Национальном альянсе. Она забыла обо всех своих проблемах, о связанных с ними людях и событиях; впрочем, они всегда не имели для нее первостепенной роли, мимо них можно было пройти, отодвинуть на второй план; они никогда не обретали окончательных, реальных очертаний. Такова на самом деле реальность, думала она, это ощущение четких очертаний, цели, легкости, надежды. Так она рассчитывала провести свою жизнь – чтобы в ней не было ни одного часа или поступка, наполненного меньшим содержанием.

Она обернулась к нему именно в тот самый момент, когда Риарден посмотрел на нее. Они стояли совсем рядом. Дагни читала в его глазах те же самые чувства, что переполняли и ее саму. Если счастье – действительно цель и смысл бытия, и если то, что способно принести наивысшее счастье, всегда старательно скрывается как величайшая тайна, значит, в тот миг они были нагими друг перед другом.

Риарден сделал шаг назад и с неким бесстрастным укором произнес:

– Вот так подобралась парочка негодяев, не правда ли?

– Почему это?

– У нас с вами нет никаких духовных целей и способностей. Нас интересует исключительно материальный мир. Ничто другое нас не занимает.

Не понимая, Дагни уставилась на него. Однако Риарден смотрел прямо перед собой, на далекий кран. Она пожалела о том, что он произнес эти слова. Обвинение не смущало ее, она никогда не воспринимала себя в подобных, довольно сложных для ее восприятия терминах и абсолютно не умела чувствовать за собой некую неизгладимую вину. И все же Дагни ощущала легкое смущение, причин которого не могла определить, она чувствовала в словах Риардена намек на серьезные последствия, даже опасность для него самого. Он произнес эти слова не просто так. Но в голосе его не было эмоций, не было мольбы о прощении или стыда. Он произнес эту фразу без интонации, просто констатируя факт.

Она смотрела на Риардена, и внезапное смятение понемногу утихло. Он смотрел из окна на свой завод; в лице его не было ни вины, ни сомнения – ничего, кроме нерушимой уверенности в себе.

– Дагни, – проговорил Риарден, – кем бы мы ни были, мы движем миром, и нам вести его вперед.

ГЛАВА V. ВЕРШИНА РОДА Д'АНКОНИЯ

Первым делом она заметила газету, зажатую в руке Эдди, появившегося в ее кабинете. Она посмотрела на него: лицо Эдди было напряженным и взволнованным.

– Дагни, ты очень занята?

– А что?

– Я знаю, что ты не любишь говорить о нем. Но кое-что тебе, по-моему, нужно просмотреть.

Она безмолвно протянула руку к газете.

Опубликованная на первой странице статья повествовала о том, что, взяв под свой контроль рудники Сан-Себастьян, правительство Мексиканской Народной Республики обнаружило, что цена им грош. Ничто не могло оправдать пять лет работы и потраченные миллионы – ничто, кроме трудолюбиво вскрытых разрезов. Скудные следы меди никак не стоили трудов, затраченных на их извлечение. Не существовало не только огромного месторождения, но даже каких-либо его признаков, способных ввести в заблуждение. Правительство Мексики собралось на экстренное заседание, пребывая в состоянии возмущения; государственные деятели считали себя обманутыми.

Не сводивший с нее глаз Эдди заметил, что Дагни продолжает смотреть на газету, даже закончив чтение. И понял, что испытывает вполне оправданный, хотя и не слишком понятный страх.

Он ждал. Дагни подняла голову. Она смотрела не на него. Глаза ее были устремлены вдаль, и предельно сконцентрированный взгляд пытался разглядеть нечто неведомое.

Он негромко проговорил:

– Франсиско не дурак. Кем бы ни был он по своей сути, в какие бы пороки ни погружался, – а причина этого мне по-прежнему неясна, – он не дурак. Он просто не мог сделать такую ошибку. Я просто ничего не понимаю.

– А я начинаю понимать.

Дагни распрямилась – резко, судорожно, как пружина:

– Позвони этому сукину сыну в «Уэйн-Фолкленд» и скажи, что я хочу его видеть.

– Дагни, – проговорил он с мягкой укоризной, – это же Фриско д'Анкония.

– Был когда-то.

* * *

Сквозь ранние сумерки она шла к отелю «Уэйн-Фолкленд».

– Он говорит, в любое время, когда тебе угодно, – сказал ей Эдди. В нескольких окнах под самыми облаками уже загорались первые огни.

Небоскребы казались заброшенными маяками, рассылавшими слабые, гаснущие сигналы в пустынное море, в котором нет кораблей.

Редкие снежные хлопья неторопливо падали мимо темных витрин опустевших магазинов, чтобы растаять на тротуаре. Цепочка красных фонариков пересекала улицу, растворяясь в туманной дали.

Дагни не могла понять, почему ей хотелось побежать, почему она должна была бежать;

нет, не по этой улице, вниз по освещенному ослепительным солнцем зеленому склону к берегу Гудзона от особняка Таггертов. Так она всегда бегала, услышав от Эдди:

– Это Фриско д’Анкония! – И они оба бросались навстречу ехавшей вдоль реки машине.

Он был единственным гостем их детства, чье прибытие превращалось в праздник, становилось огромным событием. Этот бег навстречу ему превращался в соревнование между ними троими. На склоне, на половине расстояния между дорогой и домом, росла береза; Дагни и Эдди пытались пробежать мимо дерева раньше, чем Франсиско успеет подняться к нему от дороги. И во все его многочисленные приезды, во все годы они ни разу не успевали первыми к березе; Франсиско оказывался около нее раньше них. Франсиско побеждал всегда. Всегда и во всем.

Родители его издавна дружили с семейством Таггертов. Он был их единственным сыном, и они воспитывали его в самых разных уголках земли; говорили, что отец его стремился этим приучить сына относиться к миру как к своему будущему владению.

Дагни и Эдди никогда не могли сказать заранее, где Франсиско будет проводить зиму; раз в году, летом, строгий южно-американский гувернер привозил мальчика на месяц в поместье Таггертов.

Франсиско находил вполне естественным для себя общение с детьми Таггертов: они были наследными принцами *«Таггерт Трансконтинентал»*, как и он был наследником *«Д’Анкония Коннер»*.

– Мы – единственная оставшаяся в мире аристократия, финансовая аристократия, – сказал он однажды Дагни в возрасте четырнадцати лет. – Единственная подлинная аристократия для тех, конечно, кто может понять, что это означает.

У него была собственная кастовая система: с точки зрения Фриско, детьми Таггертов были не Джим и Дагни, а Дагни и Эдди. Он редко замечал существование Джима. Эдди однажды спросил его:

– Франсиско, ты ведь принадлежишь к высшей знати, не так ли?

Тот ответил:

– Пока еще нет. Мой род сумел просуществовать так долго лишь потому, что ни одному из нас не было позволено думать, что он рожден д’Анкония. Все мы должны были заслужить свое имя.

И имя это он произносил так, как будто одни звуки его могли сделать собеседника дворянином.

Себастьян д’Анкония, его предок, покинул Испанию много веков назад, в те времена, когда страна эта была самой могущественной на свете, а он принадлежал к одному из самых гордых родов ее. Он покинул родину, потому что глава инквизиции не одобрял его манеру мышления и на одном из придворных пиршеств порекомендовал переменить образ мыслей. Себастьян д’Анкония выплеснул ему в лицо содержимое бокала и бежал из дворца, прежде чем его успели схватить. Оставив состояние, поместья, мраморный дворец и любимую девушку, он отплыл в Новый Свет.

Первым его поместьем в Аргентине стала деревянная хижина у подножья Анд. Солнце лучом маяка отражалось от серебряного герба рода д’Анкония, прибитого над дверью хижины, в то время как Себастьян д’Анкония искал медное месторождение своего первого рудника. Он провел годы с киркой в руке, ломая камень от рассвета до заката с помощью нескольких изгоев – дезертиров, оставивших армию соотечественников, беглых преступников, голодных индейцев.

Через пятнадцать лет после того, как он оставил Испанию, Себастьян д'Анкония послал на родину за своей любимой: она ждала его. Явившись к подножию Анд, она обнаружила серебряный герб над входом в окруженный садами мраморный дворец; вдали маячили горы, изрытые ямами, из которых извлекали красную руду. Через порог своего дома он перенес ее на руках. Себастьян показался ей даже моложе, чем во время их последней встречи.

– Наши предки, – однажды сказал Франсиско Дагни, – наверняка подружились бы.

Все свое детство Дагни обитала в будущем – в мире, который ожидала найти, где ей не придется скучать или ощущать презрение. Но один месяц в году она была свободной. Этот единственный месяц она могла провести в настоящем. И, бросаясь вниз по склону холма навстречу Франсиско д'Анкония, она вырывалась из тюрьмы.

– Привет, Чушка!

– Привет, Фриско!

Прозвища не пришлись по вкусу обоим. Она недовольным тоном спросила:

– Что ты, собственно, имеешь в виду?

Он ответил:

– На тот случай, если ты не знаешь, «чушкой» называется раскаленный слиток металла.

– Откуда ты взял это слово?

– Я услышал его от джентльмена на таггертовской железке.

Франсиско владел пятью языками и разговаривал по-английски без тени акцента, преднамеренно подмешивая простонародные словечки к рафинированной лексике. Она отомстила ему прозвищем «Фриско». Он не без досады рассмеялся:

– Если вам, варварам, так уж нужно опорочить имя своего великого города, присвоив его мне, вы не добьетесь своей цели.

Однако оба постепенно привыкли к этим прозвищам.

Это началось на второе проведенное ими вместе лето, когда ему было двенадцать, а ей десять. В тот год Франсиско начал невесть где пропадать по утрам. Еще до рассвета он уезжал на своем велосипеде и возвращался как раз к накрытому на террасе для ланча белому, в хрустале, столу, всегда подчеркнуто вежливый и совершенно невозмутимый. На все расспросы Дагни и Эдди он отвечал смехом. Однажды в еще предутренних прохладных сумерках они попытались выследить его, но скоро сдались: никто не мог увязаться за Франсиско, если тот не хотел этого сам.

Спустя некоторое время миссис Таггерт по-настоящему обеспокоилась и провела расследование. Она так и не узнала, каким образом ему удалось обойти законы, запрещающие использовать детский труд, однако обнаружила, что Франсиско работает – по неофициальной договоренности с диспетчером – посыльным местного управления «*Таггерт Трансконтинентал*», расположенного в десяти милях от их летнего дома. Личный визит миссис Таггерт потряс диспетчера: он не имел ни малейшего представления о том, что его посыльный гостит в доме Таггертов. Железнодорожники звали мальчика Фрэнки, и миссис Таггерт предпочла не открывать им его подлинное имя. Она просто объяснила, что он устроился на работу без разрешения родителей, а потому должен быть немедленно уволен. Диспетчеру было жаль терять расторопного сотрудника; он сказал, что такого посыльного, как Фрэнки, у него не было никогда.

– Мне не хотелось бы расставаться с ним. Может, мне удастся договориться с его родителями? – предположил он.

– Боюсь, что нет, – слабым голосом молвила миссис Таггерт.

– Франсиско, – спросила она, вернувшись домой вместе с мальчиком, – что скажет твой отец, если узнает об этом?

– Он спросит, справлялся я с работой или нет. Ничто другое его не интересует.

– Не надо, я серьезно спрашиваю.

Франсиско смотрел на нее со всей вежливостью, унаследованной им от многих поколений предков, воспитанных в салонах и гостиных, однако в выражении его глаз было нечто, абсолютно не имевшее отношение к хорошему тону.

– Прошлой зимой, – ответил он, – я устроился юнгой на пароход, перевозящий медь нашей фирмы. Отец разыскивал меня три месяца, но когда я вернулся, спросил только об этом.

– Так вот каким, значит, образом ты проводишь зимы? – спросил Джим Таггерт. К улыбке его примешивалась нотка триумфа, личной победы, позволяющей ощутить свое превосходство.

– Это было прошлой зимой, – самым милым образом ответил Франсиско, не меняя невинного и непринужденного тона. – Предыдущую зиму я провел в Мадриде, в доме герцога Альбы.

– А почему ты захотел работать на железной дороге? – спросила Дагни.

Они смотрели друг на друга: взгляд ее был полон восхищения, а в его глазах читалась насмешка, не злобная, скорее, веселая, как приветствие.

– Чтобы узнать, на что это похоже, – ответил он, – и чтобы иметь потом возможность сказать, что я успел поработать на *«Таггерт Трансконтинентал»* еще до того, как это удалось сделать тебе.

Дагни и Эдди тратили свои зимы на приобретение нового умения, чтобы удивить им Франсиско и хотя бы однажды победить его. Им так и не удалось это сделать. Когда они показали ему, как надо ударять битой по мячу – Франсиско никогда еще не играл в бейсбол – некоторое время понаблюдав за ними, он сказал:

– Ну, кажется, понял. Дайте попробовать.

И, взяв биту, послал мяч за рядок дубков, росших в конце площадки.

Когда Джиму подарили на день рождения моторную лодку, все они выстроились на причале, следя за инструктором, показывавшим, как надо управлять ею. Никому из них еще не приходилось управлять моторкой. Ослепительно белое, очертаниями похожее на пулю суденышко, раскачиваясь, двигалось по воде, оставляя за собой вялую волну; мотор неровно пыхтел, задыхаясь, а сидевший возле Джима инструктор то и дело выхватывал руль из его рук. Вдруг повернув голову к Франсиско, Джим крикнул:

– Будешь говорить, что справишься лучше?

– Буду.

– Тогда попробуй!

Когда лодка причалила к пристани и Джим с инструктором вышли на настил, Франсиско сел за руль.

– Минуточку, – обратился он к инструктору, остававшемуся на причале. – Позвольте мне разобраться с управлением.

И тут же, хотя инструктор еще не получил даже возможности шевельнуться, лодка стрелой помчалась к середине реки, словно выпущенная из ружья. Они даже не успели ничего понять. Пока удалявшееся суденышко растворялось в солнечном свете, Дагни успела представить себе три оси координат: оставленный след на воде, протяжный гул мотора

и избранное направление.

Она отметила странное выражение на лице отца, наблюдавшего за тем, как исчезала вдаль моторка. Он не говорил ничего – просто смотрел. Она вспомнила, что уже видела такое выражение на его лице, когда он рассматривал сложную систему блоков, сооруженную Франсиско в возрасте двенадцати лет, чтобы подниматься на вершину скалы; он учил Дагни и Эдди нырять оттуда в Гудзон. Вокруг на земле валялись листки с вычислениями Франсиско; подобрав, отец просмотрел их и спросил:

– Франсиско, сколько лет ты изучал алгебру?

– Два года.

– А кто научил тебя всему этому?

– О, это я прикинул самостоятельно.

Дагни не знала, что на смятых листках, остававшихся в руке отца, записано самостоятельно изобретенное дифференциальное уравнение.

Наследниками Себастьяна д'Анкония всегда были старшие сыновья, которые умели с честью носить имя своего рода. Согласно семейной традиции считалось, что род может опозорить только человек, после кончины которого семейное состояние останется таким, каким было, когда он принимал его из рук отца. Сменялись поколения, однако о подобном позоре не могло быть и речи. Аргентинская легенда утверждала, что рука д'Анкония столь же чудотворна, как и рука святого, если речь идет не об исцелении, а об умении производить.

Все д'Анкония обладали необычайными способностями, но никто из них не мог бы соперничать с тем, чем обещал стать Франсиско. Похоже было, что века процедили семейные качества сквозь частое сито, пропустив ненужное, незначительное, слабое и оставив только чистые дарования; словно бы случай в порядке каприза очистил его существо от всего мелкого, от всяких инородных примесей.

Франсиско мог взяться за любое дело и выполнить его; он умел сделать это лучше, чем кто-либо другой, причем без малейших усилий. Однако и в манерах его, и в образе мыслей просто не было места сравнению. Его позицию можно было изложить следующими словами: «я могу сделать это», а не «я могу сделать это лучше тебя».

И если он что-то делал, то качество всегда оказывалось безукоризненным.

Какую бы дисциплину ни предстояло ему изучить согласно исчерпывающему плану отца, за какой бы предмет ему ни приходилось браться, Франсиско справлялся с ними непринужденно и без усилий. Его отец обожал сына, но старательно скрывал свои чувства, как прятал и гордость за то, что ему выпало воспитывать наиболее блестящего представителя и без того ослепительной семьи.

Во Франсиско многие видели вершину рода д'Анкония.

– Не знаю, какой девиз выбит на семейном гербе д'Анкония, – сказала однажды миссис Таггерт, – но я не сомневаюсь, что Франсиско сменит его на простое «Зачем?».

Именно этим вопросом он всегда отвечал на любое предложение – и ничто не могло заставить его даже пальцем шевельнуть, пока он не находил разумной причины. В тот месяц своего летнего отдыха Франсиско носился как ракета, однако когда удавалось остановить его на середине полета, всякий раз оказывалось, что он способен назвать цель любого отдельно взятого мгновения. Две вещи были равно невозможны для него: замереть на месте и двигаться без цели.

– Давайте узнаем, – так звучал для Дагни и Эдди мотив очередного его предприятия,

или он говорил: – Давайте сделаем.

Других форм развлечения он не признавал.

– Я могу сделать это, – говорил он при сооружении своего подъемника, привалившись к скале и загоняя в нее металлические клинья; в движениях его рук угадывалась уверенность мастера, никем не замеченные капли крови сочились из-под повязки на запястье. – Нет, Эдди, мы не можем меняться, ты еще недостаточно вырос, чтобы справляться с молотом. Лучше обломай эти ветки, чтобы я мог лучше видеть скалу, я сам сделаю все остальное... Какая кровь? Ах, это? Ничего, просто порезался вчера. Дагни, сбегай домой и принеси мне чистый бинт.

Джим наблюдал за ними. Они оставляли его в одиночестве, но часто замечали стоящим поодаль и вглядывавшимся во Франсиско с особенным, странным вниманием.

Он редко открывал рот в присутствии Франсиско. Однако потом принимался с возмущенной улыбкой распекал Дагни:

– Нечего воображать, прикидываться самостоятельной железной леди, этакой себе на уме! Ты просто бесхребетная тряпка, и только. Отвратительно видеть, как ты позволяешь помыкать собой этому надменному прохвосту. Он может обвести тебя вокруг пальца. У тебя нет никакой гордости. Стоит ему только свистнуть, как ты уже мчишься прислуживать ему! И почему ты еще ботинки ему не чистишь?

– Потому что он не приказывал, – отвечала она.

Франсиско мог выиграть в любой игре, мог победить в любом соревновании. Но он никогда не участвовал в них. Он мог бы командовать молодежным загородным клубом. Он и близко не подходил к его зданию, игнорируя все попытки залучить к себе самого знаменитого в мире наследника. Единственными друзьями его были Дагни и Эдди. Они не могли понять, кто кому принадлежит: они ему или он им. Разницы не было никакой: и в том, и в другом случае они были счастливы.

Каждое утро вся троица отправлялась на поиски каких-нибудь особенных приключений. Однажды пожилой профессор, преподававший литературу, приятель миссис Таггерт, заметил их на груде металлолома во дворе старьевщика, где они разбирали корпус автомобиля. Покачав головой, он остановился и обратился к Франсиско:

– Молодому человеку вашего общественного положения подобает проводить время в библиотеках, впитывать в себя мировую культуру.

– А чем же я сейчас занимаюсь? – ответил Франсиско.

Поблизости не было заводов, но Франсиско подговаривал Дагни и Эдди зайцами ездить на таггертовских поездах в далекие города, где они перелезали через забор на фабричный двор или липли к окнам, следя за тем, как работают станки, с той же увлеченностью, с которой другие дети смотрят кино.

– Когда я буду распоряжаться «*Таггерт Трансконтинентал*»... – говорила время от времени Дагни.

– Когда я буду командовать «*Д'Анкония Коннер*»... – откликался Франсиско. Остальное им не было нужды объяснять друг другу; каждый знал свою цель и средства добиться ее.

Время от времени их ловили железнодорожные контролеры. После этого очередной начальник станции звонил за сто миль миссис Таггерт:

– У нас находятся трое юных бродяг, уверяющих, что они...

– Да, – вздыхала миссис Таггерт, – они и есть. Пожалуйста, пришлите их домой.

– Франсиско, – спросил его однажды Эдди, когда они стояли возле путей таггертовского

вокзала, – ты, наверно, успел повидать весь мир. Что важнее всего на земле?

– Вот это, – Франсиско указал на эмблему «ТТ», прикрепленную к паровозу. И добавил: – Мне хотелось бы повстречаться с Натом Таггертом.

Заметив на себе взгляд Дагни, он не стал продолжать. Но несколько минут спустя, когда они оказались в лесу, на темной, узкой и сырой тропке между кучами папоротников, он сказал:

– Дагни, я всегда преклоняюсь перед чужим гербом. Я привык чтить знаки благородного происхождения. Разве я не аристократ? Только я гроша ломаного не дам за прошедший через десять рук замок и траченных молью единорогов. Гербы нашего времени следует искать на рекламных щитах и страницах объявлений популярных журналов.

– О чем ты? – спросил Эдди.

– О торговых марках, – ответил он.

В то лето Франсиско исполнилось пятнадцать лет.

«Когда я буду распоряжаться “Д’Анкония Коннер”... Я изучаю горное дело и минералогию, потому что мне нужно быть готовым к тому дню, когда я стану распоряжаться “Д’Анкония Коннер”... Я изучаю электродело, потому что энергетические компании являются лучшими клиентами “Д’Анкония Коннер”... Я намереваюсь заняться философией, потому что эти знания потребуются мне, чтобы защищать интересы “Д’Анкония Коннер”»...

– А тебе не случается думать о чем-то другом, кроме «Д’Анкония Коннер»? – спросил его однажды Джим.

– Нет.

– На мой взгляд, в мире полно всяких интересных вещей.

– Пусть об этих вещах думают другие люди.

– А не эгоистична ли такая точка зрения?

– Эгоистична.

– И что же тебе нужно?

– Деньги.

– Разве тебе мало?

– Каждый из моих предков увеличивал объем производства «Д’Анкония Коннер» примерно на десять процентов. Я намереваюсь увеличить его в два раза.

– Зачем? – спросил Джим, ехидно имитируя интонацию Франсиско.

– После смерти я намереваюсь отправиться на небо, где бы оно ни находилось, и хочу иметь возможность заплатить за вход.

– Туда пропускают только людей добродетельных, – высокомерно заметил Джим.

– Именно об этом я и говорю, Джеймс. Поэтому-то я намереваюсь претендовать на величайшую из добродетелей и предстать там в качестве человека, который умел делать деньги.

– Деньги делать может любой жулик.

– Джеймс, однажды тебе предстоит узнать, что каждое слово имеет свой смысл.

Франсиско улыбнулся, и улыбка его была полна веселой насмешки. Глядя на Франсиско и Джима, Дагни вдруг подумала о том, какие они разные. В улыбках обоих ощущался избыток иронии. Однако Франсиско смеялся потому, что видел за повседневностью нечто более великое. Джим же смеялся потому, что не хотел, чтобы нечто великое существовало.

Эту особенность улыбки Франсиско она вновь отметила однажды ночью, когда вместе

с ним и Эдди сидела возле разведенного в лесу костра. Свет пламени ограждал их неровным подвижным забором, в котором небесными звездами посверкивали кусочки недогоревших ветвей.

Ей казалось, что за оградой этой нет ничего, кроме черной пустоты, полной захватывающего дух, пугающего обещания... похожего на будущее. И все же, подумала она, будущее будет подобно улыбке Франсиско. Ключ к природе грядущих лет, некое предупреждение угадывалось в его лице, освещенном светом костра под сосновыми ветвями; и Дагни вдруг ощутила невероятное счастье, невыносимое оттого, что оно было слишком велико, и она не умела выразить его. Дагни взглянула на Эдди. Тот тоже смотрел на Франсиско, явно разделяя, хотя бы отчасти, ее чувства.

– Почему тебе нравится Франсиско? – спросила она у него через несколько недель, когда Франсиско уехал.

Эдди был явно удивлен: ему в голову не приходило, что здесь возможны какие-то вопросы. Он ответил:

– В его присутствии мне нечего опасаться.

Она проговорила:

– А мне его присутствие сулит волнение и опасность.

На следующее лето Франсиско исполнилось шестнадцать, и в этот самый день они вдвоем стояли на вершине скалы над рекой, успев разодрать шорты и рубашки во время подъема. Они смотрели вниз по течению Гудзона. Рассказывали, что в ясные дни вдалеке можно разглядеть Нью-Йорк. Однако в тот день вдали виднелось только марево, порожденное тремя источниками света: реки, неба и солнца.

Наклонившись вперед, Дагни оперлась коленом о камень, пытаясь все-таки разглядеть город. Ветер трепал ее волосы, то и дело прикрывая глаза. Оглянувшись через плечо, она заметила, что Франсиско смотрит не вдаль, а на нее. Взгляд был странным, пристальным и не улыбочивым. На мгновение она застыла на месте, упираясь ладонями в скалу: его взгляд заставил осознать свою довольно неловкую позу, напомнил о порванной на плече блузке, длинных, исцарапанных, загорелых ногах. Дагни порывисто выпрямилась и отодвинулась от Франсиско. Откинув голову назад, она посмотрела ему прямо в глаза – полные, как ей казалось тогда, осуждения и враждебности – и совершенно неожиданно для самой себя с кокетливым весельем спросила:

– Что же во мне так тебе понравилось?

Он рассмеялся; она же не знала, куда деваться от смущения – настолько нелепо прозвучал ее вопрос.

– Вот что мне нравится в тебе, – ответил он, указывая на железнодорожную колею, блестящую на солнце возле далекой станции линии «*Таггерт*».

– Она не моя, – с разочарованием вздохнула Дагни.

– Да, но будет твоей. Это-то мне и нравится.

Она улыбнулась, признавая его очередную победу. Дагни не понимала, почему он смотрит на нее столь странно, но какое-то десятое чувство подсказывало ей, что он нащупал некую, неясную пока для нее связь между ней и ее будущей способностью управлять этими рельсами.

Он отрывисто проговорил:

– Давай посмотрим, не виден ли отсюда Нью-Йорк, – и дернул за руку, пододвигая к краю утеса. Она подумала, что рука ее изогнулась случайно, сама собой, и прижалась к его

боку; они стояли совсем рядом, и она ощущала своей ногой солнечное тепло его ноги. Они вглядывались вдаль, но так и не заметили ничего, кроме светлой дымки.

Когда Франсиско в то лето уехал, она подумала, что отъезд его подобен пересечению границы, за которой осталось его детство: осенью он поступал в колледж. В следующем году должна была прийти ее очередь. Она ощущала легкое нетерпение, к которому примешивался страх, как будто ее другу предстояло погрузиться в неизвестное. Мгновение напоминало давнишнее чувство, когда несколько лет назад она смотрела, как Франсиско первым прыгал со скалы в черную воду Гудзона, и знала, что он вот-вот вынырнет и настанет ее очередь.

Она отбросила страх. Опасности, с точки зрения Франсиско, всего лишь предоставляли еще одну возможность отличиться; ибо не было сражения, которое он мог проиграть, не было и врага, способного его победить. А потом она вспомнила реплику, которую слышала несколько лет назад. Фраза оказалась настолько странной, что слова запали в память, несмотря на то, что тогда она посчитала их бессмысленными. Произнес их старый профессор математики, друг ее отца, единственный раз посетивший их загородный дом. Дагни понравилось его лицо, и в тот вечер, на террасе, она заметила в его глазах особенную печаль, когда, указав на фигуру прогуливавшегося в саду Франсиско, профессор сказал:

– Какой ранимый мальчик. Как он нуждается в счастье. Что будет он делать в мире, где оно гостит так редко?

Франсиско пошел учиться в знаменитое американское учебное заведение, которое его отец уже давно выбрал для сына. Это был самый прославленный Кливлендский университет имени Патрика Генри.

В ту зиму он не приезжал к ним в гости в Нью-Йорк, хотя для этого нужно было ехать всего только одну ночь. Они не переписывались, такого у них в обычае не было. Однако Дагни знала, что летом он на месяц приедет к ним.

Той зимой на нее несколько раз накатывало неопределенное смятение: слова профессора все приходили на память в виде предупреждения, смысла которого она не могла понять. Она гнала их. И думая о Франсиско, чувствовала крепнущую уверенность в том, что получит еще один месяц в качестве аванса на будущее, доказательства того, что ожидавший ее мир реален, пусть этот мир и не принадлежит тем, кто окружает ее.

– Привет, Чушка!

– Привет, Фриско!

Стоя на склоне холма, снова завидев его внизу, она вдруг поняла природу мира, который соединял их двоих наперекор всем остальным. Мгновение словно остановилось, она почувствовала, как хлопковая юбка полощется вокруг колен, ощутила прикосновение солнца к векам, прилив облегчения, с такой силой повлекший ее вверх, что она даже крепче уперлась в землю сандалиями, чтобы ее, вдруг сделавшуюся невесомой, не унес ветер.

Это было внезапное чувство свободы и безопасности, потому что она поняла, что ничего не знает о его жизни, никогда не знала и не хочет знать. Мир случайностей – семейств, трапез, школ, людей, не имеющих цели, людей, влачащих груз неведомой вины, – не имел к ним отношения, не мог переменить его, ничего не значил в конце концов. Они с Франсиско никогда не разговаривали о том, что происходило с ними, только о своих мыслях и о том, что будут делать... Она молча смотрела на него, словно бы внутренний голос твердил ей: «Не то, что есть, но то, что мы создадим... не остановят нас, меня и тебя... Прости мне страх, пусть я и подумала, что могу уступить тебя чему-то, прости мне сомнения, ты никогда

не узнаешь о них... я никогда более не буду бояться за тебя...»

Франсиско тоже замер на мгновение, вглядываясь в нее, и ей показалось, что во взгляде его читается не просто «здравствуй», подобающее после долгой разлуки, но приветствие человека, который думал о ней каждый день всего прошедшего года. Нет, уверенности не было, ощущение это посетило ее всего на мгновение, настолько краткое, что буквально в тот же самый миг Франсиско уже повернулся к оставшейся за его спиной березе и проговорил в тоне той же детской забавы:

– И когда ты научишься бегать? Вечно приходится дожидаться тебя.

– А ты будешь ждать меня? – весело спросила она.

Франсиско ответил без тени улыбки:

– Всегда.

Пока они поднимались на холм к дому, он разговаривал с Эдди, а она молча шла рядом. Она поняла, что в отношениях между ними возникла незнакомая прежде сдержанность, странным образом превращавшаяся в близость.

Дагни не стала расспрашивать Франсиско об университете. Только через несколько дней, она спросила, нравится ли ему там.

– Сейчас там преподают уйму всякой ерунды, – ответил он, – но несколько курсов мне нравятся.

– А у тебя уже появились там друзья?

– Двое.

Ничего больше он ей говорить не стал.

Джиму предстоял последний год обучения в нью-йоркском колледже. Занятия наделили его некоей странной, даже трепетной воинственностью, словно бы он обрел новое для себя оружие. Как-то без всякого повода со стороны Франсиско Джеймс остановил его посреди лужайки и произнес тоном оскорбленного праведника:

– По-моему, теперь, когда ты достиг студенческого возраста, тебе пора научиться хотя бы каким-нибудь идеалам. Настала пора забыть об эгоизме и жадности, подумать об ответственности перед обществом, потому что, на мой взгляд, все те миллионы, которые ты унаследуешь, не могут служить для удовлетворения твоих потребностей, они доверены тебе ради неимущих и обездоленных, и человек, который не осознает это, является наиболее низменным среди всех людей.

Франсиско ответил самым любезным образом:

– Не советую тебе, Джеймс, следовать непроверенным точкам зрения. Не стоит смущать своего собеседника подобными мнениями.

Когда они отошли, Дагни спросила:

– Неужели на свете много людей, похожих на Джима?

Франсиско рассмеялся:

– Их великое множество.

– И тебе они безразличны?

– Нет. Но мне не приходится иметь с ними дело. Почему тебя это интересует?

– Потому что мне кажется, что они в известной мере опасны... не знаю чем...

– Великий Боже! Дагни, неужели ты думаешь, что я буду бояться такого субъекта, как Джеймс?

Через несколько дней, когда они вдвоем гуляли по лесу возле берега реки, она спросила:

– Франсиско, а кто среди людей является самым низменным?

– Человек, не имеющий цели.

Она посмотрела на прямые стволы деревьев, за которыми, как за оградой, пряталось огромное, ослепительное пространство. В лесу было сумрачно и прохладно, но макушки деревьев ловили отражавшиеся от воды жаркие серебряные лучи. Дагни не знала, почему ей так нравится эта картина, почему прежде она никогда не замечала местности вокруг себя, и почему теперь ей так приятно двигаться, так приятно ощущать свое тело.

Дагни не хотела смотреть на Франсиско. Присутствие его делалось несравненно более реальным, когда она прятала глаза, словно более четкое ощущение себя самой исходило от него, подобно отражавшемуся от воды свету.

– Так, значит, ты считаешь себя умной? – спросил он.

– Считаю и всегда считала, – вызывающим тоном, не поворачиваясь, бросила она.

– Что ж, представь мне доказательства этого. Покажи, насколько высоко сумеешь подняться с *«Таггерт Трансконтинентал»*. Как бы умна ты ни была, я рассчитываю на то, что ты напряжешь все силы, чтобы достичь большего. И когда ты изнеможешь, достигнув цели, я буду ждать, что ты продолжишь восхождение к новой цели.

– Почему ты считаешь, что я захочу что-то тебе доказывать? – спросила она.

– Хочешь, чтобы я ответил?

– Нет, – прошептала она, не отводя глаз от противоположного берега реки.

Она услышала смешок Франсиско, чуть погодя он сказал:

– Дагни, в жизни нет ничего важнее, чем то, как ты делаешь свою работу. Ничего нет. Это самое главное. И твоя сущность проявляется именно в этом. Такова единственная мера ценности человека. И все этические принципы, которые пытаются затолкать тебе в глотку, имеют не больше цены, чем бумажные деньги, с помощью которых жулье пытается лишить людей их добродетелей. Один лишь принцип компетентности способен стать основой того морального кодекса, который можно приравнять к золотому стандарту. Ты поймешь это, когда вырастешь.

– Я и так понимаю это. Но... Франсиско, почему, кроме нас с тобой, этого никто не понимает?

– Но зачем тебе думать об остальных?

– Потому что мне нравится все понимать, а в людях есть кое-что такое, чего я не понимаю.

– Чего же?

– Ну, в школе я никогда не пользовалась популярностью, и это меня не смущало, но теперь я поняла причину. Совершенно немыслимую причину. Люди не любят меня не потому, что я что-то делаю плохо, им не нравится то, что я все делаю хорошо. Они не любят меня, потому что я всегда была в школе первой ученицей. Я всегда получаю пятерки, даже когда не занимаюсь. Может быть, мне стоит превратиться в троечницу, чтобы сделаться самой популярной девушкой в школе?

Франсиско замер на месте, повернулся к ней и ударил ее по лицу.

Все, что она почувствовала, вместилось в единое мгновение, когда земля пошатнулась под ее ногами, в единый порыв эмоций. Дагни знала, что убила бы на месте всякого, кто посмел бы ударить ее; она ощущала в себе ту свирепую ярость, которая дала бы ей силы на это... и столь же бурное удовольствие оттого, что пощечину ей дал Франсиско. Тупая и жаркая боль в щеке, вкус крови, сочившейся из разбитого уголка рта, были приятны ей. Ей было радостно то, что она вдруг *поняла* причину, заставившую Франсиско совершить этот

поступок. Поняла в *нем* и в *себе*.

Дагни потверже уперлась в землю ногами, чтобы унять головокружение, а потом подняла голову и с победной, насмешливой улыбкой посмотрела прямо в глаза Франсиско, впервые осознавая собственную силу, впервые ощущая себя равной ему.

– Неужели я сделала тебе столь же больно? – спросила она.

Франсиско опешил от изумления: и вопрос, и улыбка были совсем не детскими:

– Да, если тебе угодно.

– Угодно.

– Не надо больше говорить такого. Не повторяй больше эту шутку.

– Не будь дураком. С чего вдруг ты решил, что я могу захотеть сделаться популярной?

– Когда ты подрастешь, то поймешь, что сказала совершенно ужасную вещь.

– Я и так понимаю это.

Повернувшись, Франсиско вынул платок и окунул его в реку.

– Подойди сюда, – приказал он.

Рассмеявшись, она сделала шаг назад:

– Ну, нет. Пусть останется, как есть. Надеюсь, щека распухнет. Мне нравится так.

Он пристально посмотрел на нее. А потом проговорил, неторопливо и совершенно искренне:

– Дагни, ты просто изумительна.

– А я думала, ты всегда так считал, – небрежно и чуть надменно ответила она.

Явившись домой, она сказала матери, что разбила губу о камень. Это была единственная ложь за всю ее жизнь. Она поступила так не ради того, чтобы защитить Франсиско; Дагни просто казалось по неведомой для самой себя причине, что случившееся – слишком драгоценная тайна, чтобы ею можно было поделиться с кем-нибудь еще.

На следующее лето, к приезду Франсиско, ей уже исполнилось шестнадцать. Дагни было бросилась вниз по склону навстречу ему, но вдруг остановилась. Заметив это, он также замер на месте, и какое-то мгновение они просто разглядывали друг друга, разделенные отрезком пологого зеленого склона. А потом уже он неторопливой походкой направился навстречу ей, а она ожидала.

Когда Франсиско оказался рядом, Дагни невинно улыбнулась ему, словно забыв о прежнем состязании.

– Тебе будет интересно узнать, – сказала она, – что я уже работаю на железной дороге. Ночной дежурной в Рокдэйле.

Он рассмеялся:

– Неплохо, мисс «*Таггерт Трансконтинентал*», начнем соревнование. Посмотрим, у кого будет больше оснований для гордости: у Ната Таггерта за тебя или у Себастьяна д'Анкония за меня.

В ту зиму ее жизнь превратилась в сверкающее простотой подобие геометрического чертежа: несколько прямых линий, прочерченных между домом, инженерным колледжем в городе и работой в Рокдэйле на станции, и замкнутая окружность, охватившая ее комнату, битком набитую схемами двигателей, синьками стальных конструкций и железнодорожными расписаниями.

Миссис Таггерт наблюдала за своей дочерью с удивлением, но без радости. Она могла бы простить ей все странности, кроме одной: Дагни не обнаруживала никаких признаков интереса к мужчинам, вообще не проявляла никаких романтических

наклонностей. Миссис Таггерт крайностей не одобряла и при необходимости готова была справиться с крайностью противоположного рода; и, по ее мнению, получалось, что нынешняя ситуация была сложнее. Мать более всего смущало, что у ее дочери в семнадцать лет еще не было ни единого поклонника.

– Дагни и Франсиско д'Анкония? – она скорбно улыбалась в ответ на расспросы подруг. – О нет, это не любовь, а какой-то интернациональный промышленный картель. Это все, что интересует их обоих.

Однажды вечером миссис Таггерт услышала, как Джеймс при гостях со странным удовлетворением в голосе высказался следующим образом:

– Дагни, несмотря на имя, унаследованное тобой от первой Дагни Таггерт, прославленной своей красотой, ты, скорее, похожа на Ната Таггерта, ее мужа.

Миссис Таггерт так и не поняла, что задело ее в большей степени: то, что Джеймс высказался так грубо, или то, что Дагни явно приняла это за комплимент.

Миссис Таггерт решила, что так и не сумеет понять собственную дочь. Дагни превратилась в силуэт, впархивающий на длинных ножках манекенщицы в семейные апартаменты и выпархивающий из них, в тонкую фигурку в короткой юбке и кожаной куртке с поднятым воротником. Комнату она пересекала с мужской прямолинейной решимостью, и тем не менее движения ее были наполнены особой, быстрой и напряженной порывистостью, странной, но вызывающе женственной.

Временами, взглянув на лицо Дагни, миссис Таггерт получала совершенно непонятное впечатление: на нем была написана не радость, а столь кристально чистое удовлетворение, что мать находила его неестественным – ни одна юная девица, по ее мнению, не могла в этом возрасте не переживать каких-либо жизненных печалей. Она пришла к выводу, что дочь ее не способна на чувства.

– Дагни, – спросила она однажды, – а тебе не хочется хотя бы иногда развлечься?

Недоверчиво посмотрев на мать, Дагни ответила:

– А что, по-твоему, я делаю?

Решение устроить дочери официальный светский дебют стоило миссис Таггерт изрядной доли размышлений. Она не знала, кого будет представлять нью-йоркскому обществу: мисс Дагни Таггерт из «Светского альманаха» или ночную дежурную со станции Рокдэйл; миссис Таггерт полагала, что, скорее, речь будет идти о телефонистке; кроме того, она не сомневалась, что Дагни отвергнет саму идею. Она была потрясена, когда дочь с необъяснимой детской радостью ухватила за нее.

Еще раз она удивилась, увидев, как Дагни оделась по случаю своего дебюта. На ней впервые в жизни была женственная одежда: платье из белого шифона с огромной, похожей на облачко юбкой. Миссис Таггерт ожидала увидеть нечто совершенно противоположное. Дагни казалась красавицей. Она сделалась сразу и старше, и невиннее, чем обычно; стоя перед зеркалом, она держала голову так, как делала бы это жена Ната Таггерта.

– Дагни, – проговорила миссис Таггерт с мягкой укоризной, – видишь, какой красавицей, при желании, ты можешь быть?

– Вижу, – ответила Дагни без тени удивления.

Бальный зал отеля «Уэйн-Фолкленд» был украшен сообразно указаниям миссис Таггерт; обладая несомненным художественным вкусом, она создала для своей дочери бесспорный шедевр.

– Дагни, я хочу, чтобы ты обратила особое внимание на весь этот антураж, – сказала

она, – на освещение, краски, цветы, музыку. Ими не стоит пренебрегать, хоть ты и склонна так думать.

– Я никогда не считала их недостойными внимания, – радостным тоном ответила Дагни. И миссис Таггерт впервые ощутила связь между собой и дочерью; Дагни смотрела на нее с детской благодарностью и доверием.

– Эти вещи делают жизнь прекрасной, – заметила миссис Таггерт. – И я хочу, чтобы этот вечер запомнился тебе своей красотой. Первый в жизни бал становится самым романтическим событием в жизни женщины.

Для миссис Таггерт величайшим сюрпризом сделалось то мгновение, когда она увидела Дагни в свете огней, оглядывающей бальный зал. Перед ней была не девочка, не девушка, но женщина, уверенная в себе и наделенная опасной силой, что миссис Таггерт ощутила искреннее восхищение. В век повседневной, циничной и безразличной рутины, среди людей, проживавших свою жизнь не как плоть, а как мясо, манера Дагни держаться казалась едва ли не непристойной, потому что так смотреть на бальный зал могла женщина, жившая столетия назад, когда появиться на людях полуобнаженной, выставить себя на обозрение мужчин было проявлением отваги, имевшим смысл, *единственный* смысл, и признававшийся всеми как большая авантюра. «И это, – подумала миссис Таггерт с улыбкой, – девушка, которую я едва не сочла лишенной сексуальности». Она ощущала огромное облегчение и некоторое удивление оттого, что подобного рода открытие может принести облегчение.

Однако этого благодного чувства хватило лишь на несколько часов; в конце вечера она обнаружила Дагни в углу балюстрада, сидевшей на балюстраде, как на заборе, и болтавшей ногами под шифоновой юбкой, словно на ней были брюки. Она разговаривала с парой беспомощных молодых людей, и лицо ее наполняла презрительная пустота.

По дороге домой Дагни и миссис Таггерт не обменялись ни словом. Но по прошествии некоторого времени, повинаясь порыву, миссис Таггерт заглянула в комнату дочери. Дагни стояла возле окна в своем вечернем платье; теперь оно казалось облачком, поддерживающим слишком тонкое для него тело, хрупкое тело с поникшими плечами. За окном посеревшее небо предвещало скорый рассвет.

Когда Дагни повернулась к ней, миссис Таггерт заметила в глазах дочери недоуменную беспомощность; лицо было спокойным, однако выражение его заставило мать пожалеть о своем недавнем желании познакомить дочь с житейскими печальями.

– Мама, почему они всё воспринимают наоборот? – спросила она.

– Как это? – всполошилась миссис Таггерт.

– То, о чем ты говорила. Свет и цветы. Неужели они ожидают, что эти украшения сделают их романтичными, а не наоборот?

– Дорогая моя, что ты хочешь сказать?

– Там не было ни одного счастливого человека, – произнесла Дагни безжизненным голосом, – такого, кто способен думать или чувствовать. Они ходили вокруг меня, говорили те же пошлости, что и повсюду. Наверно, предполагали, что освещение сделает их блестящими.

– Дорогая, ты воспринимаешь все слишком серьезно. На балу не принято быть интеллектуалом. Там надо веселиться.

– Каким образом? Говоря глупости?

– Но разве тебе не понравилось общество молодых людей?

– Каких молодых людей? Так, глупые парни, с десятком которых я легко бы разобралась.

Несколько дней спустя, сидя за своим столом на станции Рокдэйл в полном довольстве и ощущая себя на своем месте, Дагни вспомнила о том вечере уже с полным безразличием. Она подняла глаза: шла весна, и ветви деревьев за окном покрывала листва, воздух был спокойным и теплым. Она спросила себя, чего ожидала от бала. Ответа не было. Дагни лениво припала к столу, не ощущая ни усталости, ни желания работать.

Встретившись в то лето с Франсиско, она рассказала ему о своем разочаровании. Он выслушал ее молча, впервые окидывая тем полным застывшей насмешки взглядом, который приберегал для всех остальных, взглядом, который замечал слишком многое. Ей казалось, что в ее словах он слышал больше, чем она намеревалась сказать.

Такой ироничный взгляд Франсиско она увидела вечером, когда неожиданно рано отправилась в Рокдэйл. Они вдвоем сидели на берегу реки. У нее оставался еще час в запасе. Длинные узкие языки пламени еще не погасли на небе, и красные искры лениво скользили по воде. Франсиско уже долго молчал, когда она вдруг встала и сказала ему, что ей пора идти. Он не попытался остановить Дагни; откинувшись назад, подложив руки под голову, он, не шевелясь, смотрел на нее; взгляд его как будто говорил, что он превосходно знает причину. Дагни решительно взбежала по склону холма к дому: она и сама не знала, что, собственно, заставило ее поторопиться. Внезапное беспокойство было рождено неведомым до сих пор чувством надежды.

Каждую ночь она проезжала пять миль, отделявших загородный дом от Рокдэйла. Дагни возвращалась назад с рассветом, спала несколько часов и вставала вместе со всеми. И ей не хотелось спать. Ложась в постель с первыми лучами солнца, она ощущала напряженное, радостное и беспричинное стремление встретить наступающий день.

Вновь увидела она этот насмешливый взгляд Франсиско у сетки теннисного корта. Начала игры она не помнила; они часто играли в теннис, и он всегда побеждал. Дагни даже не знала, в какое мгновение той игры *вдруг решила победить*.

Но едва появившись, это решение перестало быть только желанием, оно превратилось в яростную бурю, поднимающуюся внутри нее. Дагни не знала, почему должна победить; она не понимала, почему победа казалась столь настоятельно, решительно необходимой. Она знала только, что *должна* победить и победит.

Играть было легко; казалось, что воля ее исчезла, и за нее играет кто-то другой. Она посмотрела на Франсиско – высокого, стройного, загорелого. Оценивая по достоинству ловкость его движений, она заранее ощущала кипучее удовлетворение оттого, что должна победить именно эту совершенную машину, и каждый мастерский жест его становился ее победой, и его блестящее владение телом превращалось в ее триумф.

Боль утомления росла, но она не осознавала ее как боль, ощущая только во внезапных уколах на мгновение, не более, напоминавших ей о какой-либо части тела: локте, лопатках, бедрах, облепленных белыми шортами, мышцах ног, бросавших ее навстречу мячу, векам, делавших небо багровым и превращавших налетающий мяч в подобие клубка белого пламени, тонкую раскаленную нить, протягивавшуюся от лодыжки вверх по спине, когда посланный ею мяч летел на половину Франсиско... Она ощущала восторг, потому что каждый начинавшийся в *ее* теле укол боли должен был закончиться в *его* теле, не менее утомленном, чем ее собственное, и, напрягая себя, она напрягала тем самым и его, и он чувствовал это, потому что она этого добивалась; и боль эта становилась не ее слабостью, а страданием его тела.

Замечая в такие мгновения его лицо, она видела, что Франсиско смеется.

Он смотрел на нее так, словно все понимал. Он играл не для того, чтобы победить, а для того, чтобы сделать более сложной ее победу, посылая свои мячи по сторонам корта, чтобы заставить ее побегать, теряя очки, чтобы еще раз увидеть, как изогнется ее тело в полном муки бэкхенде, замирая на месте, чтобы она подумала, что он промахнется, лишь для того, чтобы в самый последний момент небрежно выставить руку и послать мяч назад с такой силой, чтобы Дагни поняла: все, она не успеет к нему. И ей казалось, что она не сможет даже сдвинуться с места, и, как странно, она вдруг оказывалась на противоположной стороне своей половины корта, ударяя по мячу с такой сокрушительной силой, словно ей хотелось разбить его на куски, словно она наносила удар не по нему, а по лицу Франсиско.

Еще, еще раз, думала она, пусть следующий удар переломит кости руки... еще, еще раз, даже если прекратится приток воздуха в воспаленную глотку... А потом она уже ничего не чувствовала... ни боли, ни мышц, ничего, кроме мысли о том, что должна победить Франсиско, увидеть его изнеможение, увидеть, как он рухнет, и тогда только получить возможность и право умереть.

Она победила. Быть может потому, что он, как обычно, смеялся.

Франсиско подошел к сетке, хотя Дагни оставалась на месте, и бросил свою ракетку к ее ногам, как бы понимая, что именно этого она и хочет. А потом вышел с корта и рухнул на траву, подложив руку под голову.

Дагни неторопливо подошла к нему. Она остановилась над ним, глядя на распростертое у ног тело, на пропитанную потом тенниску, на рассыпавшиеся по руке пряди волос. Франсиско приподнял голову. Взгляд его последовательно поднялся по ее ногам к шортам, блузке, глазам. Насмешливый взгляд словно бы видел ее насквозь — под одеждой, под покровом разума. Он словно говорил, что *на самом деле* победа принадлежит ему.

В ту ночь она сидела за своим столом в Рокдэйле одна во всем станционном здании и рассматривала небо через окно. Этот час нравился ей более всего: верхние части стекол начинали светлеть, и рельсы колеи уже поблескивали серебром в нижних частях оконного переплета. Выключив лампу, она следила за вселенским, бесшумным движением света над неподвижной землей. Вокруг царила тишина, даже лист не колыхался на ветвях деревьев, а небо постепенно теряло цвет, превращаясь в светлый водный простор, который не окинуть одним взглядом.

В этот час телефон на ее столе умолкал, будто по всей сети прекращалось движение. Вдруг снаружи, за дверью, послышались шаги. В комнату вошел Франсиско. Он еще никогда не приходил сюда, но появление его не удивило Дагни.

— Что ты делаешь здесь в такое время? — спросила она.

— Да так, спать не хочется.

— А как ты добрался сюда? Я не слышала мотора твоего автомобиля.

— Пришел пешком.

Прошло не одно мгновение, прежде чем она поняла, что не спросила его, зачем он пришел, и что не хочет спрашивать об этом.

Он походил по комнате, разглядывая развешенные по стенам подшивки транспортных накладных и календарь, на котором «*Комета Таггерта*» горделиво накатывала на зрителя. Франсиско казался здесь на месте, он словно бы ощущал, что комната эта принадлежит им двоим, как бывало всегда, где бы они ни оказывались вместе. Однако он не испытывал желания говорить. Задав ей несколько вопросов по работе, Франсиско умолк.

Снаружи становилось все светлее, движение на линии оживало, и тишину то и дело начали нарушать телефонные звонки. Дагни занялась работой. Франсиско сидел в углу и ждал, перебросив ногу через поручень кресла.

Дагни работала быстро, ощущая необычайную ясность в голове. Точные движения рук доставляли ей удовольствие. Она сконцентрировала все внимание на резких звонках аппарата, на цифрах номеров телефонов, автомобилей, заказов. Она не замечала ничего другого.

Однако случайно смахнув на пол листок бумаги, она нагнулась за ним, и как-то вдруг словно чужими глазами увидела себя со стороны: свои движения... серую полотняную юбку, закатанный рукав серой блузки и обнаженную руку, протянувшуюся к бумаге. Сердце ее на мгновение замерло – так охает человек, охваченный предчувствием... Подобрал листок, она вернулась к прерванной работе.

Стало уже светло – почти как днем. Мимо станции без остановки проехал поезд. В чистом утреннем свете длинная вереница вагонных крыш превратилась в серебряную цепочку, а сам поезд летел мимо станционного здания, словно бы повиснув над землей, едва соприкасаясь с ней. Пол под ногами ее содрогался, в окнах звенело стекло. Дагни со взволнованной улыбкой проводила поезд глазами. Она посмотрела на Франсиско: тот тоже улыбался, не отрывая от нее взгляда.

Когда пришел дневной дежурный, она передала ему станцию, и вместе с Франсиско они вышли на утренний воздух. Солнце еще не поднялось, и вместо него, казалось, светился сам воздух. Дагни не ощущала усталости. Она словно только что проснулась.

Она направилась к своей машине, но Франсиско сказал:

– Давай пройдемся до дома. Вернемся за твоим автомобилем потом.

– Хорошо.

Она ничуть не удивилась предложению, перспектива пройти пешком пять миль также не смущала ее. Все казалось вполне естественным; естественным для особой реальности того мгновения, ясного, но отстраненного от всего остального, близкого, но все же обособленного, подобного сверкающему островку посреди туманного моря, напоминающего о высшей, неоспоримой яви опьянения.

Дорога вела через лес. Они сошли с шоссе на старую тропку, вилевшую между деревьями девственного леса. Вокруг вообще не было заметно признаков человеческого вмешательства. Старые, заросшие травой колеи делали присутствие людей еще более отдаленным, прибавляя годы времени к милям расстояния. Сумерки еще цеплялись за землю, но в брешах между древесными стволами ослепительной зеленью сверкала листва, словно бы освещавшая собой лес. Листья не шевелились. Они все шли вперед, двоедвигающихся людей в неподвижном мире. Дагни вдруг заметила, что за все это время они не произнесли даже слова.

Они вышли на прогалину. Небольшая низина притаилась между двумя отвесными скалами, ее пересекал ручеек, ветви деревьев клонились к земле.

Плеск воды только подчеркивал тишину. Далекая прорезь ясного неба делала место еще более укромным. Высоко над их головами, на гребне холма, первые лучи солнца выхватили одиноко стоящее дерево.

Они остановились и посмотрели друг на друга. Франсиско схватил ее, повернул к себе, припал губами к ее губам... ощутив, как руки ее вскинулись в бурном ответном объятии... Она поняла, что знала заранее, ждала прикосновения его рук. Она впервые осознала,

насколько хотела этого.

На мгновение она почувствовала протест и легкий страх. Однако Франсиско прижимался к ней, рука его двигалась по ее груди, как рука собственника, знакомящегося с ее телом, не спрашивая согласия, не прося разрешения. Она попыталась высвободиться, но сумела только откинуться назад, чтобы увидеть его лицо и улыбку, которая сказала ей, что согласие свое она дала давным-давно. Она подумала, что надо бежать, но вместо этого ответно прижалась к нему и припала к его губам.

Дагни знала, что бояться бесполезно, что он сделает с ней то, что хочет, что решать ему, что он не оставил для нее ничего другого, кроме того, что она желала больше всего – возможности покориться. Она не осознавала, чего он хочет, мгновение унесло все ее представления о дурном и хорошем, у нее не было сил верить в то, что свершалось с нею, она понимала только, что боится. И все же она словно кричала ему: «Не спрашивай у меня разрешения... Только не спрашивай – делай, делай!»

Какое-то мгновение она пыталась устоять, но рот его прикрывал ее губы, и она медленно опустилась на землю, так и не прервав поцелуя. Она лежала неподвижно как трепещущий объект акта, который он проделал просто и без колебаний, словно бы по праву того невыносимого удовольствия, которое он приносил им обоим.

Франсиско определил то, что свершилось с ними обоими, первыми же словами, которые произнес потом. Он сказал:

– Мы должны были научить этому друг друга.

Длинная фигура Франсиско распростерлась на траве рядом с ней, на нем были черные брюки и рубашка, и она ощутила порыв гордости – гордости оттого, что отныне ей принадлежит его тело. Лежа на спине, Дагни смотрела в небо, не желая шевелиться, думать, представлять себе нечто, находящееся вне этого мгновения.

Вернувшись домой, она легла в постель обнаженной, потому что тело ее сделалось незнакомым, слишком драгоценным для прикосновения ночной рубашки, потому что ей было приятно ощущать собственную наготу, ощущать своим телом простыни, словно бы к ним прикасалась кожа Франсиско. Она уже думала, что не уснет, потому что ей не хотелось отдыхать, расставаясь с самым прекрасным из известных ей утомлений, – но самой последней мыслью ее стало воспоминание о тех временах, когда ей хотелось выразить, хотя она не находила для этого средств, ощущение, более высокое, чем счастье, желание благословить всю землю, понимание того, что она любит и существует именно в этом мире. Она подумала, что пережитое ею сегодня было единственным способом выразить всю гамму ощущений. Она не знала, серьезно ли это; ничто не могло быть серьезным во Вселенной, из которой изгнана боль. Не успев как следует взвесить свое умозаключение, она уже спала, улыбаясь, в тихой и светлой, наполненной утром комнате.

Тем летом они встречались в лесу, в укромных уголках у реки, в заброшенном сарае, в подвале дома.

Тогда-то она и училась воспринимать красоту, глядя вверх на старинные балки перекрытий, на стальной кружок лопастей вентилятора, ритмично жужжавший над их головами. Она ходила в брюках, в хлопковом летнем костюме, но никогда еще не бывала настолько женственной, как в те мгновения, когда, прижимаясь к Франсиско, оседала в его объятиях, позволяя делать с собой все, что угодно, открыто признавая его право низводить ее до полной беспомощности тем удовольствием, которое он мог даровать ей. Франсиско научил ее всем чувственным приемам, которые мог изобрести.

– Разве не удивительно, что тело может принести нам столько удовольствия? – однажды искренне удивился он сам. Они были счастливы и ослепительно невинны. Им обоим даже в голову не приходило, что счастье может оказаться грехом.

Свой секрет они хранили в тайне от всех остальных не как позорный проступок, но как то, что принадлежит лишь им обоим и не подлежит чужому осуждению или одобрению. Она знала, что, согласно общепринятому воззрению на сексуальные отношения, занятие это представляет собой уродливое проявление низменной природы человека, и к нему следует относиться с презрением. И собственная чистота заставила ее устраниваться не от желаний собственного тела, но от любых контактов с людьми, исповедовавшими подобную доктрину.

В ту зиму Франсиско приезжал к ней в Нью-Йорк самым непредсказуемым образом. Он то прилетал из Кливленда без предупреждения по два раза в неделю, то исчезал на целые месяцы. Обложившись чертежами и синьками, она сидела на полу своей комнаты, когда в дверь раздавался стук.

– Я занята! – отвечала она, и насмешливый голос спрашивал:

– В самом деле?

Тогда она вскакивала на ноги, распахивала дверь, чтобы обнаружить за нею Франсиско. После чего они отправлялись к нему на квартиру, которую он снимал в городе, крохотную комнатку в тихом районе.

– Франсиско, – спросила однажды она с внезапным удивлением, – я ведь твоя любовница, не так ли?

Он усмехнулся:

– Именно так.

И она почувствовала гордость, которую женщине полагается чувствовать, удостоившись титула жены.

В долгие месяцы его отсутствия она никогда не занимала себя мыслями о том, верен он ей или нет; она знала, что Франсиско хранит верность. Несмотря на то что Дагни была еще слишком молода, чтобы знать причину, она понимала, что неразборчивость и беспорядочность в связях присущи лишь тем, кто видит в сексе и в самих себе только зло.

Ей было известно немного о жизни Франсиско. Он учился на последнем курсе и редко разговаривал о своих занятиях, а она никогда не расспрашивала. Дагни подозревала, что он слишком усердно работает, потому что временами замечала странное выражение на его лице. Однажды она посмеялась над ним, похвастав, что давно уже работает на «*Таггерт Трансконтинентал*», в то время как он еще не начал зарабатывать себе на жизнь. Франсиско ответил:

– Отец не позволяет мне работать на «*Д'Анкония Коннер*», пока я не окончу университет.

– И когда же это ты успел сделаться послушным сыном?

– Я должен уважать его желания. «*Д'Анкония Коннер*» принадлежит отцу... Впрочем, ему принадлежат не все медеплавильные компании мира, – в улыбке Франсиско угадывался легкий намек.

Всю историю она узнала только следующей осенью, когда он окончил университет и вернулся в Нью-Йорк из Буэнос-Айреса, погостив у отца.

Франсиско рассказал ей, что за последние четыре года прошел два курса обучения: один в университете Патрика Генри, а другой на медеплавильном заводе на окраине Кливленда.

– Мне нравится разбираться во всем самостоятельно, – проговорил он. Франсиско начал

работать в шестнадцать лет, подручным у печи, а в двадцать лет купил весь завод. Свою первую частную собственность он приобрел, несколько подправив свой подлинный возраст, в тот же самый день, когда получил университетский диплом; оба документа он отослал отцу.

Он показал фотографию своего предприятия – крохотного, грязного, позорно старого, обветшавшего в борьбе за существование; над входом, подобно новому флагу над брошенной по старости шхуной, красовалась надпись: «Д'Анкония Коннер».

Нью-йоркский представитель отца был вне себя:

– Но, дон Франсиско, это немыслимо! Что подумают люди? Как можно ставить такое имя над этой помойкой?

– Это мое имя, – ответил Франсиско.

Когда, приехав в Буэнос-Айрес, Франсиско вошел в кабинет отца – помещение просторное, строгое, обставленное, как современная лаборатория, единственным украшением которого были развешанные по стенам фотоснимки предприятий «Д'Анкония Коннер» – крупнейших рудников концерна, обогатительных фабрик и медеплавильных заводов, – он увидел на почетном месте, прямо перед столом отца, фотоснимок кливлендского заводика с новой вывеской над входом.

Франсиско встал перед столом, и отец перевел взгляд с фотоснимка на сына.

– Не слишком ли ты торопишься? – спросил старший д'Анкония.

– Не мог же я четыре года только ходить на лекции.

– А откуда ты взял деньги, чтобы внести первый взнос за этот завод?

– Выиграл на Нью-Йоркской фондовой бирже.

– Что? Кто посоветовал это тебе?

– Определить, какое промышленное предприятие ждет успех, а какое нет, не так уж и сложно.

– А откуда ты взял деньги на игру?

– Из пособия, которое вы присылали мне, сэр, а также из собственного заработка.

– А где ты нашел время, чтобы следить за фондовым рынком?

– Пока писал диссертацию о влиянии на последующие метафизические системы аристотелевой теории Неподвижного Движителя.

В ту осень Франсиско ненадолго задержался в Нью-Йорке. Отец послал его в Монтану помощником управляющего рудником своей фирмы.

– В общем, – улыбаясь, поведал он Дагни, – мой отец не считает разумным слишком быстро повышать меня в чине. А я не хочу просить у него о доверии. Если ему нужны доказательства с моей стороны, он их получит.

Весной Франсиско вернулся – уже в качестве главы нью-йоркской конторы «Д'Анкония Коннер».

В последующие два года Дагни не часто виделась с ним. Она никогда не могла сказать, где он окажется – в каком городе и даже на каком континенте – на следующий же день после их встречи. Франсиско всегда являлся к ней неожиданно, и ей это нравилось, потому что его присутствие в ее жизни таким образом делалось постоянным, и, как солнечный луч, он мог озарить ее в любое мгновение.

Когда она видела Франсиско в рабочем кабинете, руки его представлялись ей такими, какими она когда-то видела их на руле моторки: он вел свое дело по курсу с той же ровной, опасно высокой, но покорной ему скоростью. Один лишь случай остался потрясением в ее

памяти, настолько не шел он Франсиско.

Однажды вечером она наблюдала за ним, когда он стоял у окна своего кабинета, всматриваясь в бурые городские зимние сумерки. Франсиско долго не шевелился. Лицо его казалось жестким и напряженным; в глазах застыло выражение, которого она в нем и помыслить не могла: горького и бессильного гнева. Наконец он сказал:

– В мире что-то идет не так. Это было всегда. Существовало нечто такое, чему никто не мог дать имени или объяснения.

Он не захотел пояснять свою мысль.

Когда она увидела Франсиско в следующий раз, на лице его не осталось и следа этого переживания. Настала весна, и оба они стояли на террасе, устроенной на крыше ресторана, ветер прижимал легкий шелк ее вечернего платья к строгому черному костюму Франсиско. Они смотрели на город.

В зале за спинами их звучал концертный этюд Ричарда Халлея; имя этого композитора было известно немногим, однако они уже открыли его для себя и полюбили. Франсиско проговорил:

– Здесь не нужно высматривать крыши небоскребов? Теперь мы среди них.

Улыбаясь, она ответила:

– Боюсь, мы поднимемся выше... Я даже боюсь... мы как будто едем на каком-то лифте.

– Конечно. А чего ты боишься? Пусть себе мчится. Разве может быть предел скорости?

Франсиско было двадцать три, когда умер его отец, и он уехал в Буэнос-Айрес, чтобы принять дела концерна «Д'Анкония», теперь перешедшего к нему. Дагни не видела его три года.

Сперва он писал ей, редко и неаккуратно. Он писал о «Д'Анкония Коннер», о мировом рынке, о вопросах, затрагивавших интересы «Таггерт Трансконтинентал». Свои короткие письма он писал от руки, обыкновенно ночью.

Отсутствие Франсиско не печалило ее. Дагни также делала первые шаги к власти над своим будущим королевством. Главы промышленных фирм, приятели ее отца, поговаривали, что нужно повнимательнее наблюдать за молодым д'Анкония; если эта медная компания прежде была просто великой, то теперь под его руководством она покорит весь мир. Дагни только улыбалась, но удивления не испытывала. Случались иногда мгновения, когда она ощущала внезапный бурный порыв тоски по Франсиско, однако причиной его бывало нетерпение, но не боль. Дагни гнала тоску, нисколько не сомневаясь, что оба они работают ради будущего, которое принесет им все – в том числе и друг друга. А потом она перестала получать письма.

Ей было двадцать четыре года в тот весенний день, когда на столе ее кабинета в здании «Таггерт» зазвонил телефон.

– Дагни, – произнес знакомый голос. – Я сейчас в «Уэйн-Фолкленде». Приезжай сегодня вечером, поужинаем вместе. В семь часов.

Он не поздоровался с ней, как будто они расстались всего вчера. Мгновение, потраченное ею на то, чтобы вновь научиться искусству дышать, сказало Дагни, насколько много значит для нее этот голос.

– Хорошо... Франсиско, – ответила она. Они могли более ничего не говорить друг другу. Опуская трубку на место, она подумала, что его возвращение – вещь вполне естественная, и что она всегда ожидала это событие, хотя, конечно, не могла предвидеть охватившую ее внезапно потребность произнести его имя и тот укол счастья, который ощутила в это

мгновение.

В тот вечер, едва вступив в его номер, она застыла на месте.

Франсиско стоял посреди комнаты и смотрел на нее. На лице появилась невольная улыбка, как если бы он утратил способность улыбаться и был удивлен тем, что она все-таки вернулась к нему. Он смотрел на нее с недоверием, словно не зная, кто она такая, и что ощущает он сам. Взгляд его был подобен мольбе, крику о помощи, сорвавшемуся с уст человека, неспособного плакать. Завидев ее, он попытался было произнести их старинное приветствие, и даже начал его... но не договорил последнего слова. И вместо него после мгновенной паузы промолвил:

– Дагни, ты прекрасна, – так, словно мысль эта была ему обидна.

– Франсиско, я...

Он покачал головой, не позволяя ни ей, ни себе произнести те слова, которые они никогда не говорили друг другу, прекрасно понимая, что они и так слышали их в этот самый момент.

Подойдя, он обнял ее, поцеловал в губы, крепко и надолго прижал к себе. И когда Дагни снова посмотрела в его лицо, он улыбался – уверенно и задиристо. Улыбка эта сказала ей, что Франсиско владеет собой, ею, всем вообще, и приказывает ей забыть все, что увидела она в первое мгновение.

– Привет, Чушка, – сказал он.

Не чувствуя ничего, кроме уверенности в том, что вопросов ей задавать не следует, Дагни улыбнулась и ответила:

– Привет, Фриско.

Она могла бы понять любую перемену, кроме той, которая произошла с ним.

В лице его не было ни искорки жизни, ни намек на радость; оно сделалось непроницаемым. Только что молившая улыбка его говорила не о слабости; в облике его появилась решительность, граничащая с безжалостностью. Он гордо выпрямил спину под невыносимой тяжестью на плечах. Она заметила то, во что не могла поверить: на лице Франсиско появились горькие морщинки, он выглядел измученным.

– Дагни, не удивляйся тому, что я делаю, – проговорил он, – и тому, что я сделаю когда-нибудь.

Предоставив ей столь скудное объяснение, он повел себя дальше так, словно больше объяснять было нечего.

Она ощущала разве что легкое беспокойство; испытывать страх за его судьбу или в его присутствии было немыслимо. А когда Франсиско рассмеялся, она подумала, что они вернулись в свой лес на берегу Гудзона: он не изменился и не изменится никогда.

Ужин подали в номер. И ей было забавно смотреть на Франсиско за столом, сервированным с намекающей на непомерную цену ледяной официальнойностью, в номере отеля, похожем на зал европейского дворца.

«Уэйн-Фолкленд» считался самым знаменитым отелем всех континентов. Его праздная роскошь, бархатные шторы, лепные панели и свечи явным образом контрастировали с предназначением этого заведения: никто не мог воспользоваться его гостеприимством, кроме деловых людей, приезжавших в Нью-Йорк улаживать дела всего мира. Дагни отметила, что манеры обслуживавшей их прислуги свидетельствовали об особом почтении именно к этому постояльцу отеля, и что Франсиско это совершенно безразлично. Он успел уже привыкнуть к тому, что является сеньором д'Анкония, владельцем «Д'Анкония Коннер».

Однако она сочла странным, что он не стал рассказывать о своих делах. Дагни ожидала услышать, что лишь работа интересует его, и что он первым делом поделится с ней своими успехами. Франсиско не стал этого делать. Напротив, он начал расспрашивать ее о перспективах и об ее отношении к «*Таггерт Трансконтинентал*». Дагни рассказывала о своих делах так, как всегда говорила о них, зная, что лишь он один способен понять ее страстную преданность делу. Франсиско внимательно слушал ее, не делая никаких замечаний.

Официант включил радио, передавали тихую вечернюю музыку, не пробуждавшую никаких чувств. И вдруг комнату захлестнула волна звуков, сотрясшая стены, словно подземный толчок. Потрясение было вызвано не громкостью, а могучей мелодией. Зазвучала свежая запись нового, Четвертого, концерта Халлея.

Оба они в молчании внимали этому восстанию, музыкальному бунту – победному гимну великих мучеников, отказавшихся подчиниться боли. Франсиско слушал, разглядывая городской пейзаж за окнами.

Наконец он проговорил без какого-то перехода или предупреждения странным, совершенно невыразительным тоном:

– Дагни, а что бы ты сказала, если бы я попросил тебя оставить «*Таггерт Трансконтинентал*» и плюнуть на ее дальнейшую жалкую судьбу – пусть себе катится в тартарары под руководством твоего братца?

– Ты хочешь знать, что бы я подумала, если бы ты предложил мне совершить самоубийство? – сердито ответила она.

Франсиско молчал.

– Почему тебя вообще это интересует? – резко спросила она. – Твой вопрос не был шуткой. Прежде ты никогда не шутил такими вещами.

На лице его не было и намек на веселье. Ответ Франсиско прозвучал негромко и серьезно:

– Нет, конечно, нет. Мне не следовало спрашивать тебя об этом.

Дагни не без труда перевела разговор на его работу. Франсиско отвечал на вопросы, но сам не проявлял никакой инициативы. Она пересказала ему отзывы предпринимателей о блестящих перспективах «*Д'Анкония Коннер*» под его руководством.

– Они не ошибаются, – проговорил он безжизненным голосом.

Охваченная внезапной тревогой, не понимая, что именно подтолкнуло ее, она вдруг спросила:

– Франсиско, а зачем ты приехал в Нью-Йорк?

Он неторопливо ответил:

– Чтобы встретиться с другом, попросившим меня об этой встрече.

– Деловой?

Глядя куда-то в сторону, словно отвечая на собственную мысль, чуть с горечью улыбаясь, странно мягким и печальным тоном он ответил:

– Да.

Было уже далеко за полночь, когда она проснулась рядом с ним в постели. Из оставшегося внизу города не доносилось ни звука. В тишине комнаты жизнь словно замерла на какое-то время. Счастливая, утомленная, она лениво повернулась, чтобы посмотреть на него. Франсиско лежал на спине, высоко взбив подушку. Профиль его вырисовывался на фоне освещенного рассеянным городским светом окна. Он не спал, глаза

его оставались открытыми. Губы были крепко сжаты, словно он боролся с немислимой болью, даже не пытаясь скрыть свое страдание.

Дагни боялась даже шевельнуться. Почувствовав на себе ее взгляд, он повернулся к ней.

Внезапно вздрогнув, он отбросил одеяло, открыв нагое тело Дагни, а потом спрятал лицо у нее на груди, судорожно обхватив за плечи. Уткнувшись носом ей в плечо, он глухо пробормотал:

– Я не могу отказаться! Не могу!

– Что? – прошептала она.

– От тебя.

– Зачем тебе...

– И всего.

– Зачем тебе отказываться?

– Дагни! Помоги мне остаться. Отказаться. Пусть он и прав!

Она ровным тоном спросила:

– От чего отказаться, Франсиско?

Он не ответил и только крепче прижался к ней лицом.

Дагни притихла, понимая лишь то, что ей следует быть крайне осторожной.

Чувствуя его голову на своей груди, ровно и ласково поглаживая рукой волосы, она смотрела на потолок комнаты, на едва проступающую сквозь темноту лепнину, и ждала, онемев от ужаса.

Он простонал:

– Все правильно, но так трудно поступить именно так, как надо! О боже, как же это трудно!

Спустя некоторое время Франсиско поднял голову и сел. Дрожь оставила его.

– Что случилось, Франсиско?

– Я не могу сказать тебе всю правду, – голос его звучал искренне и открыто, не пытаясь скрыть страдание. – Ты не готова услышать ее.

– Но я хочу помочь тебе.

– Ты не можешь ничем помочь мне.

– Ты же сам сказал: помочь тебе *отказаться*.

– Я не могу этого сделать.

– Тогда позволь мне разделить с тобой твоё решение.

Он покачал головой и посмотрел на нее сверху вниз, словно бы взвешивая последствия. А потом вновь покачал головой, отвечая самому себе.

– Если я сам не в силах выдержать его, – проговорил Франсиско с еще незнакомой ей нежностью, – то как сможешь выстоять ты?

Она проговорила неторопливо, делая над собой усилие, изо всех сил стараясь не закричать:

– Франсиско, я должна знать.

– Простишь ли ты меня? Я вижу, как ты испугана, а это жестоко с моей стороны. Но если ты хочешь что-то для меня сделать, давай забудем об этом разговоре, забудем – и все, и никогда больше не спрашивай меня ни о чем.

– Я...

– Это все, что ты можешь для меня сделать. Согласна?

– Да, Франсиско.

– И не бойся за меня. Просто так случилось сегодня. Повторения не будет. Потом это будет даваться легче.

– Но, может быть, я могу...

– Нет. Спи, моя любимая.

Он впервые назвал ее этим словом.

Утром он не прятал глаз, смотрел ей прямо в лицо, не старался уклониться от ее полного тревоги взгляда, но о ночной сцене молчал. На спокойном лице его отражались страдание и ясность, нечто подобное полной боли улыбке, хотя он не улыбался. Как ни странно, переживание сделало его моложе. Теперь он казался не человеком, подвергающимся мучительной пытке, а человеком, понимающим, что мука эта сто́ит того, чтобы ее перенести.

Она не стала допытываться до сути. Только, прежде чем уйти, спросила:

– Когда я снова увижу тебя?

Франсиско ответил:

– Не знаю. Не жди меня, Дагни. Когда мы встретимся в следующий раз, ты не захочешь даже смотреть на меня. У всего, что я буду делать, есть причина. Но я не могу назвать ее тебе, и ты будешь права, проклиная меня. Я не намерен оправдывать этот достойный презрения поступок, не буду просить тебя верить мне. Ты будешь руководствоваться собственными представлениями и суждением. Ты будешь проклинать меня. Тебе будет больно. Только постарайся не покориться этой боли. Помни, что это я тебе говорю. Это все, что я могу тебе сказать сейчас.

Она не получала от него никаких известий и ничего не слышала о нем около года. А потом начала прислушиваться к сплетням и читать заметки газетчиков; поначалу она не верила, что они имеют отношение к Франсиско д'Анкония. А потом поверить пришлось.

Она прочла отчет о приеме, устроенном им на яхте в гавани Вальпараисо: гости получили приглашение явиться в купальных костюмах, а всю ночь на палубу падал дождь из шампанского и цветочных лепестков.

Она прочла отчет о приеме, который он устроил на курорте в алжирской пустыне: он возвел там павильон из тонких листов льда и подарил каждой из приглашенных дам горностаевую накидку при условии, что они станут снимать их, вечерние платья и все остальное по мере того, как будут таять стены.

Она читала отчеты о его деловых предприятиях; они всегда сообщали о его громких успехах и приводили к разорению конкурентов, однако теперь он занимался делами, как спортом: производил внезапный набег, а потом исчезал с промышленной сцены на год или два, оставляя управление «Д'Анкония Коннер» в руках наемных директоров.

Она прочла интервью, в котором Франсиско высказывался следующим образом:

– Вы спрашиваете, зачем я хочу делать деньги? У меня их достаточно, чтобы три поколения моих потомков могли наслаждаться жизнью в той же мере, что и я сам.

Однажды она встретила с ним на приеме, устроенном в Нью-Йорке послом. Франсиско любезно поклонился ей, улыбнулся и наделил взглядом, в котором не существовало никакого прошлого. Она отвела его в сторону и произнесла всего только два слова:

– Франсиско, почему?

– Почему что? – спросил он.

Она отвернулась.

– Я предупреждал тебя.

Она не стала искать с ним новой встречи.

Дагни пережила разрыв. Она смогла пережить его, потому что не верила в страдание. Боль она воспринимала с возмущением и негодованием и отказывалась придавать ей значение. Страдание являло собой бессмысленное отклонение от нормы и не могло быть частью жизни Дагни. Она просто не позволила боли приобрести какое-то значение. Она не могла дать имени тому сопротивлению, которое оказывала боли, и той эмоции, которая рождала это сопротивление; однако в качестве эквивалента могла предложить следующие слова: это ничего не значит, это нельзя воспринимать серьезно. Она считала так даже в те мгновения, когда душа ее превращалась в сплошной стон, когда ей хотелось потерять рассудок, чтобы не видеть, как становится правдой то, что правдой быть не могло. Этого нельзя воспринимать серьезно, повторяло нечто несокрушимое, обитавшее в ее сердце, – боль и уродство никогда нельзя принимать всерьез.

Она сражалась. И она победила. Время помогло ей дожить до того дня, когда она смогла безразлично отнестись к собственным воспоминаниям, и до того дня, когда она не сочла нужным обращаться к ним. История эта была окончена и более не имела к ней никакого отношения.

В жизни ее не появился другой мужчина. Она не знала, хорошо это или плохо. У нее просто не было времени на подобные размышления. Ослепительно чистое наполнение жизни она обрела именно там, где хотела, – в своей работе. Прежде подобное ощущение давал ей Франсиско – ощущение принадлежности к собственному миру, к собственной работе. Мужчины, с которыми она знакомилась после него, принадлежали к той же самой категории, что и на первом ее балу.

Дагни выиграла сражение с воспоминаниями. Однако она все-таки пережила эти годы, воплощенные в коротком слове «почему».

Какая бы трагедия ни обрушилась на Франсиско, почему он избрал самый дешевый путь спасения, столь же низменный, как пьянство ничтожного алкоголика? Тот юноша, которого она знала, не мог превратиться в жалкого труса. Несравненный интеллект не мог обратить свою изобретательность на сооружение тающих бальных зал. Тем не менее все это произошло, и этому не было никакого разумного объяснения, позволяющего ей спокойно забыть обо всем. Она не могла усомниться в том, каким он был; она не могла усомниться и в том, каким он стал; и оба этих факта были несовместимы друг с другом. Иногда Дагни едва не начинала сомневаться в том, что находится в здравом уме или в рациональности самого бытия; однако подобных сомнений она не позволила бы никому. Тем не менее объяснения не было, не было причины, даже намек на сколько-нибудь постижимую причину – и за прошедшие десять лет она так и не нашла ничего похожего на ответ.

[Купить полную версию книги](#)